



Пока бьётся сердце

Сергей Патрушев

Сергей Патрушев

Пока бьётся сердце

«Автор»

2026

Патрушев С.

Пока бьётся сердце / С. Патрушев — «Автор», 2026

Мир рухнул за три недели. Волнийский синдром - вирус, превращающий людей в агрессивных безмозглых существ, - выкосил целые города. Военные патрули отстреливают заражённых без разбора. Карантинные зоны переполнены. Лекарства не существует. Ной, 25-летний курьер в красной ветровке, заражается одним из первых. Но его организм реагирует иначе: он не умирает и не теряет рассудок, а впадает в пограничное состояние. Его тело меняется, кожа сереет, глаза загораются нечеловеческим огнём, а в голове поселяется чужой голос - Симбионт, разумная сущность вируса. Ной прячется в заброшенной художественной студии, цепляясь за остатки человечности. Айви, фармацевт, верит, что заражённых можно вылечить. Когда стая зомби нападает на неё в разгромленной аптеке, Ной вмешивается - и спасает её. Так начинается история невозможной любви между женщиной, посвятившей жизнь поиску лекарства, и существом, которое балансирует на грани между человеком и монстром. Айви учит его заново дышать, моргать, улыбаться.

© Патрушев С., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава 1. Нулевой пациент	5
Глава 2. Голос в голове	19
Глава 3. Блондинка в аптеке	28
Глава 4. Немой спаситель	38
Глава 5. Искра	45
Конец ознакомительного фрагмента.	50

Сергей Патрушев

Пока бьётся сердце

Глава 1. Нулевой пациент

Красная ветровка мелькала в сером потоке вечернего города, как сигнальная ракета, запущенная в пасмурное ноябрьское небо над уставшим мегаполисом. Для Ноя этот кричащий цвет был не просто осознанным выбором гардероба, не просто способом выделиться из безликой толпы таких же курьеров в тёмных, немарких пуховиках и болоньевых куртках. Этот цвет был его профессиональным знаменем, его личным оберегом, его молчаливым вызовом миру, который упорно пытался загнать всё живое и яркое в рамки унылой практичности и серой функциональности. В то же время этот цвет был и его проклятием — слишком заметный, слишком бросакий, он привлекал внимание не только благодарных клиентов, которым не приходилось всматриваться в темноту подъезда в поисках фигуры курьера, но и агрессивных подростков из спальных районов, и скучающих охранников в бизнес-центрах, и подвыпивших офисных работников, которым в пятницу вечером обязательно нужно было выплеснуть на кого-то накопившуюся за неделю желчь. Синтетическая ткань цвета запёкшейся артериальной крови, купленная два года назад на распродаже в дешёвом спортивном магазине на окраине, позволяла Нюю растворяться в автомобильных пробках, словно он был одним из элементов дорожного движения, оставаясь при этом до отвращения заметным для вездесущих камер наружного наблюдения, развешанных на каждом столбе, и для вечно раздражённых, вечно спешащих клиентов, которые с утра до ночи заказывали пищу, суши, бургеры, лекарства, корм для кошек и ещё тысячу мелочей, без которых, как они искренне полагали, их жизнь немедленно остановилась бы.

Двадцать пять лет. Четверть века. Два с половиной десятилетия непрерывного существования в этом мире, который сейчас, в ноябрьских сумерках, казался особенно враждебным и неудобным. В таком возрасте, если верить глянцевым журналам и мотивационным блогерам из социальных сетей, принято покорять мир, запускать амбициозные стартапы в гаражах, перевернув представление человечества о доставке еды или аренде самокатов, штурмовать карьерные лестницы международных корпораций или хотя бы мучительно, но продуктивно искать себя в творческих профессиях, перемежая периоды вдохновенного созидания с модной рефлексией и посещениями психотерапевта. Ной же, вместо того чтобы соответствовать этим глянцевым стандартам, методично крутил педали старого, издававшего виды велосипеда «Стелс», купленного три года назад с рук у какого-то мутного типа на сайте объявлений, и лавировал между припаркованными у тротуаров автомобилями с грацией, выработанной тысячами часов подобного лавирования. Он чувствовал, как холодный, пронизывающий до костей ноябрьский ветер, пахнувший выхлопными газами, прелыми листьями и приближающимся снегом, забирается под капюшон его красной ветровки, касается вспотевшего, разгорячённого физическими усилиями затылка своими ледяными, бесцеремонными пальцами, вызывая волну мурашек, которая прокатывалась вниз по позвоночнику до самой поясницы. Термосумка за его спиной, набитая чьим-то ужином, приятно грела лопатки, распространяя тепло, которое ощущалось почти как присутствие живого, дышащего существа, прижавшегося к нему в поисках защиты от этого промозглого, неудобного вечера.

Улицы города изменились за последние три дня, и изменения эти были настолько стремительными и глубокими, что Ной, при всём своём желании, не мог их игнорировать. Он замечал перемены краем глаза, тем самым профессионально натренированным взглядом курьера-универсала, который привык на лету считывать малейшие изменения в привычном городском ландшафте, потому что от этой способности зависели его скорость, его рейтинг, его чаевые и, в конечном счёте, его выживание в агрессивной среде мегаполиса. Он привык замечать внезапно перекрытый строительными лесами переулок, через который ещё вчера можно было срезать путь к бизнес-центру, экономя драгоценные минуты. Он мгновенно фиксировал появление нового дорожного знака, способного обернуться штрафом и потерей заработка за день. Он безошибочно определял по едва уловимым признакам появление агрессивного бездомного у обычно спокойного перекрёстка и заранее менял маршрут. Теперь же изменения затронули самую ткань городской жизни. Люди на тротуарах, которых он ежедневно видел сотнями, двигались совершенно иначе — их походка стала быстрее, суетливее, дёрганнее, словно каждый прохожий ожидал удара в спину или окрика из-за угла. Их движения напоминали стаю диких птиц, собравшихся на зимовку и внезапно почуввавших неясную, но смертельную угрозу, исходящую откуда-то из глубины осеннего неба. Автомобилей на улицах стало заметно меньше, зато кареты скорой помощи с их пронзительными, воющими сиренами, разрывающими барабанные перепонки, носились от одного района к другому с самого утра и до глубокой ночи, создавая непрерывный, тревожный, проникающий под кожу саундтрек надвигающейся на город катастрофы.

— Четверг, семь часов сорок три минуты вечера, — пробормотал Ной, бросив быстрый взгляд на свои наручные часы, когда велосипед замер на светофоре, и тишина, нарушаемая только его собственным тяжёлым дыханием, ненадолго обступила его со всех сторон. Это был дешёвый пластиковый хронометр неизвестного китайского бренда, купленный в ларьке у метро за смешные деньги, но Ною он был дорог не ценой, а своей функциональностью. Часы показывали не только время, но и температуру воздуха, атмосферное давление, высоту над уровнем моря и даже уровень кислорода в крови, который считывался крошечным сенсором, прижатым к запястью. Последний параметр, впрочем, отсутствовал в заводской прошивке — Ной добавил его самостоятельно, вооружившись паяльником, набором отвёрток и знаниями, оставшимися от недоученного курса биоинженерии, который он бросил на третьем семестре по причинам, слишком банальным, чтобы о них вспоминать. Он перепаял несколько контактов на крошечной плате, загрузил написанную на коленке программу, взятую с открытого форума таких же энтузиастов-самоучек, и теперь часы исправно показывали сатурацию, давление и ещё дюжину параметров, которые нормальному человеку никогда бы не пришли в голову. Старая привычка, доставшаяся в наследство от недолгой академической карьеры, привычка ковыряться во внутренностях электроники, словно в потрохах подопытной лягушки.

Текущая доставка вела его на самую окраину города, в район, который оптимистичные риелторы в своих цветастых буклетах называли «перспективным спальным микрорайоном с развивающейся инфраструктурой», а все остальные жители мегаполиса без экивоков именовали «дырой», «гетто» или, в особо вежливых случаях, «местом, куда лучше не соваться после заката». Бесконечные ряды серых бетонных коробок-девятиэтажек, построенных ещё в эпоху развитого социализма и с тех пор ни разу не видевших капитального ремонта, тянулись вдоль разбитых, покрытых выбоинами и лужами дорог. Фонари здесь горели через один, а те, что горели, мигали с такой частотой, что грозили спровоцировать эпилептический припадок у случайного прохожего. Из вентиляционных шахт тянуло вечным, вьёвшимся в саму структуру бетона запахом жжёной электропроводки, дешёвых сигарет и подгоревшего лука. Адрес, который высветился в навигаторе, вёл его напрямик к дому номер семнадцать, стоявшему в самой

глубине двора, куда не доходил свет даже тех редких фонарей, что ещё функционировали. В седьмой квартире на первом этаже, если верить приложению, проживала некая мадам Грета, заказавшая два часа назад три больших упаковки трёхслойных одноразовых масок, два литровых флакона антисептического геля с концентрацией спирта не менее семидесяти процентов и упаковку сильнодействующих противоаллергических препаратов, которые обычно прописывают при отёке Квинке.

Сам по себе этот список покупок, который Ной машинально прокрутил в голове, пока пристёгивал велосипед к ржавой трубе газопровода у подъезда, был красноречивее и честнее любых официальных новостных сводок, транслируемых по федеральным каналам. Маски, антисептик и лекарства от аллергии — святая троица начинающейся эпидемии, ритуальные предметы новой религии страха, которая расползалась по городу быстрее, чем любой вирус. Люди чуяли опасность не разумом, не через сухие цифры статистики, а каким-то древним, животным инстинктом, который заставлял их скупать гречку, туалетную бумагу и медикаменты задолго до того, как правительство признавало проблему.

Поднимаясь по щербатым, истёртым тысячами ног бетонным ступеням на площадку первого этажа, Ной машинально поправил голубую трёхслойную маску, которая уже успела отсыреть от его дыхания и неприятно липла к губам и подбородку. Не то чтобы он искренне верил в эффективность этого клочка нетканого материала против того неведомого ужаса, о котором последние дни с нарастающей истерикой кричали из каждого утюга, каждого радиоприёмника и каждого новостного канала в мессенджерах. Скорее, он соблюдал формальность, предписанную новыми правилами сервиса, которые в приложении гордо именовались «усиленным санитарным протоколом безопасности». К тому же клиенты, особенно такие нервные, как мадам Грета, увидев курьера без защиты на лице, могли устроить громкий скандал с криками, проклятиями и, что самое страшное для рейтинга, уничтожительным отзывом в одну звезду с подробным описанием всех его мнимых и реальных прегрешений.

Тяжёлая металлическая дверь, обитая чёрным дерматином, который местами был порван, обнажая жёлтый поролон, распахнулась почти мгновенно после первого же звонка. Создавалось полное впечатление, что мадам Грета всё это время стояла в тёмной, пропахшей кошками и нафталином прихожей, прижавшись слезящимся глазом к мутному пластику дверного глазка, и дышала через раз, дожидаясь прибытия курьера с её спасительным заказом. Женщина, которой на вид было далеко за шестьдесят, обладала пышной химической завивкой пепельного цвета, напоминавшей застывшую сахарную вату, и запахом дешёвых сигарет «Прима», который, казалось, въелся не только в её одежду и волосы, но и в саму структуру её кожи, в морщины вокруг рта и в пожелтевшие, прокуренные пальцы. Она смотрела на Ноя с тем самым особенным, ни с чем не сравнимым выражением липкого страха и брезгливого недоверия, которое он всё чаще замечал у клиентов в последние дни. Это был взгляд человека, который подозревает, что любое существо, приближающееся к нему, может нести в себе невидимую, но смертельную угрозу, что сам воздух вокруг отравлен, что конец света уже наступил, просто не все ещё это осознали.

— Положите всё на пол, — скомандовала она хриплым, прокуренным голосом, в котором слышались командирские нотки бывшей учительницы или библиотекарши, привыкшей командовать теми, кто находится ниже по социальной лестнице. При этом она отступила на целый шаг вглубь тёмного коридора, словно одного только воздуха, дохнувшего из подъезда, было достаточно для заражения. — И отойдите ровно на два метра. Не меньше. У меня рулетка есть, я проверю.

Ной, давно привыкший к подобным протоколам бесконтактной доставки, которые за последние дни стали не исключением, а всеобщим правилом, молча и аккуратно выполнил её указания. Объёмный бумажный пакет с логотипом аптеки глухо шуршал, опускаясь на холодный, покрытый многолетними слоями пыли бетонный пол лестничной клетки, на котором отпечатались следы десятков ботинок. Из недр квартиры тянуло сложным, многослойным запахом: пережаренным на подсолнечном масле луком, застарелым кошачьим наполнителем, который явно не меняли дольше положенного, и сладковатым ароматом каких-то старушечьих духов, напоминающих о давно ушедшей эпохе.

— Вы болеете? — внезапно, с какой-то подозрительной проницательностью спросила женщина, вглядываясь в его лицо, точнее, в ту его часть, которая оставалась открытой над кромкой голубой медицинской маски. Её маленькие, глубоко посаженные глаза цепко сканировали его лоб, переносицу и область вокруг глаз. — У вас глаза красные. Очень красные. Как у кролика. Или как у алкоголика со стажем. Вы пьёте? Или болеете?

— Аллергия, — солгал Ной, хотя никакой аллергии в его медицинской карте отродясь не было, да и сама мысль о том, чтобы страдать от цветочной пыльцы или тополиного пуха, всегда казалась ему нелепой. — Сезонное обострение. Пыльца амброзии. Очень мучаюсь в этом году.

— Пыльца амброзии в ноябре? — с нескрываемым, едким сомнением переспросила мадам Грета, и её накрашенные ярко-розовой помадой губы скривились в скептической усмешке. — Амброзия цветёт в августе, молодой человек. В ноябре её нет. Вы что, биологию в школе не учили? Или вы меня за дуру держите?

Тем не менее, деньги из своей цепкой, морщинистой руки она не выпустила, а демонстративно, с каким-то театральным отвращением, швырнула смятые купюры прямо на бумажный пакет с покупками, словно боялась, что даже случайное, мимолётное прикосновение к пальцам курьера может стать для неё фатальным, смертельным приговором без права на обжалование.

Ной наклонился, чтобы подхватить с пакета эти жалкие, смятые купюры, и в тот самый момент, когда кровь прилила к голове, мир вокруг него внезапно и немотивированно покачнулся, словно палуба корабля, попавшего в шторм. Головокружение было лёгким, почти незаметным для стороннего наблюдателя, эдаким мимолётным помутнением, но для человека, который зарабатывает себе на жизнь исключительно скоростью реакции и безупречной координацией движений в плотном городском трафике, этот короткий эпизод прозвучал оглушительным тревожным звоночком, первым ударом колокола, возвещающего о приближении катастрофы. В ушах на короткое мгновение зашумело, словно туда плеснули океанской водой, а перед глазами поплыли яркие, пульсирующие цветные пятна — разумеется, красные, в тон его любимой ветровке, словно весь мир решил подстроиться под его гардероб.

— Эй, курьер, ты в порядке? — голос мадам Греты доносился словно сквозь толстый слой ваты, обёрнутой вокруг его головы. — Ты побледнел весь. И глаза у тебя не просто красные, а какие-то светящиеся. Ты не вампир, часом?

— В полном порядке, — с трудом, преодолевая внезапную, навалившуюся ниоткуда слабость, отозвался он, и язык, который всегда был послушным инструментом, вдруг показался чужим, неповоротливым, распухшим куском сырого мяса, который с трудом помещался во рту

и отказывался внятно артикулировать слова. — Полный порядок. Хорошего вечера. Будьте здоровы. Носите маски. Мойте руки.

Он практически вывалился из подъезда на улицу, и холодный, сырой ноябрьский воздух, перенасыщенный влагой и запахом гари, ударил ему в лицо, мгновенно обжёл разгорячённую, неестественно чувствительную слизистую оболочку носа и рта. Красные глаза. Аллергия в ноябре. Смешно и нелепо до слёз, если вдуматься. На самом же деле глаза чесались нестерпимо с самого утра, с того момента, как он продрал их после короткого, не принёсшего отдыха сна, а к обеду, примерно в районе двух часов дня, появилось то самое, трудноописуемое словами ощущение — будто внутри его черепной коробки, прямо под костями свода черепа, что-то слегка сместилось, сдвинулось на миллиметр, как тектоническая плита перед катастрофическим землетрясением. Будто сам его мозг изменил своё положение в черепе.

Город вокруг него жил своей собственной, лихорадочной, пульсирующей жизнью, и в этой жизни появилось что-то новое, что-то, чего Ной раньше никогда не замечал. На углу, возле круглосуточного супермаркета, который сиял неоновыми вывесками, обещаая скидки и акции, собралась плотная, колышущаяся толпа — человек тридцать, не меньше, а может, и все пятьдесят, слившихся в единый многоголовый, многоногий организм. Люди стояли так плотно, так тесно прижавшись друг к другу, что напоминали единое живое существо, колышущееся в такт какому-то внутреннему, неслышимому ритму. Все как один были в масках — синих, белых, чёрных, самодельных, тканевых — но маски эти, очевидно, были скорее символическим жестом отчаяния, ритуальным действием, чем реальной, эффективной защитой. Ной притормозил, удерживая равновесие на велосипеде и вглядываясь в происходящее сквозь мутную пелену начавшегося дождя. Очередь за гречкой, догадался он. Или за сахаром, который исчезал с полок первым, словно люди боялись не вируса, а грядущего дефицита сладкого. Или за антибиотиками широкого спектра действия, которые расхватывали, не читая инструкций и не консультируясь с врачами.

Над этой колышущейся, взволнованной толпой, словно флаг обречённой армии, развевался на холодном ветру обрывок вчерашней газеты, прилипший к фонарному столбу. Ной успел прочитать крупный, кричащий заголовок на пожелтевшей бумаге, пока ждал разрешающего зелёного сигнала светофора, и буквы намертво впечатались в его сознание: «ВОЛНИЙСКИЙ СИНДРОМ: ЧЕТЫРЕ СТАДИИ РАСПАДА ЛИЧНОСТИ. ЭКСКЛЮЗИВНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ. ВЛАСТИ ОТРИЦАЮТ ЭПИДЕМИЮ, НО ГОРОДА ГОТОВЯТСЯ К КАРАНТИНУ».

Волнийский синдром. Само это название звучало как имя древнего, забытого божества из тёмных веков человечества, которому когда-то поклонялись в сырых пещерах, принося кровавые жертвы и вымаливая пощаду. Первые, ещё робкие и туманные сообщения о случаях загадочной болезни зафиксировали около трёх недель назад в небольшом, затерянном на картах городке под названием Волнийск, который сиротливо притулился среди бескрайних, продуваемых всеми ветрами степей и многочисленных военных полигонов. Сначала, по классике жанра, всё списали на банальное массовое пищевое отравление в школьной столовой. Потом, когда счёт заболевших пошёл на сотни, а симптомы стали слишком странными для обычной кишечной инфекции, заговорили о неизвестном, мутировавшем штамме агрессивного гриппа, завезённом из-за границы. Затем, когда грипп не подтвердился, а больные начали демонстрировать поведение, которое выходило далеко за рамки медицинских учебников, поползли слухи о бактериологическом оружии, тайно распылённом вражескими диверсантами над спящим городом. Правды, как это обычно и бывает в подобных ситуациях, не знал никто, но слухи, подо-

греваемые анонимными телеграм-каналами и сарафанным радио, распространялись быстрее и эффективнее любого, даже самого заразного вируса.

Говорили разное, и с каждым днём информация становилась всё более пугающей и противоречивой. Говорили, что заражённый проходит четыре последовательные, неумолимые стадии, и каждая из них страшнее предыдущей. Первая стадия — внезапная лихорадка, которая сжигает тело изнутри, дикая слабость, при которой человек не может поднять руку, и характерное покраснение глаз и всех слизистых оболочек, словно организм охвачен внутренним пожаром. Вторая стадия — глубокая спутанность сознания, когда больной перестаёт узнавать близких, теряет ориентацию во времени и пространстве, а на смену страху приходит немотивированная, животная агрессия, направленная на всех без разбора. Третья стадия — полный и, по всей видимости, необратимый распад человеческой личности, разрушение всех социальных и моральных барьеров, неконтролируемые, дикие вспышки ярости невероятной силы, когда тщедушный старик может раскидать пятерых здоровых санитаров. Четвёртая стадия — смерть, которая наступает в страшных мучениях. Или, как уточняли некоторые источники, то, что в официальных сводках сухо называли смертью, но что очевидцы в анонимных, закрытых телеграм-каналах, которые Ной читал по ночам, описывали совершенно иначе, используя такие слова, как «трансформация» и «перерождение».

Ной усилием воли отогнал мрачные, липкие мысли, которые, словно пиявки, присосались к его сознанию, и с силой нажал на педали, заставляя велосипед двигаться вперёд, сквозь морось и туман. Сегодня у него в очереди висели ещё четыре заказа, которые нужно было доставить до полуночи, и если он успеет закрыть их вовремя, не схлопотав штраф за опоздание, то получит приятный повышенный коэффициент, который так нужен ему сейчас. В конце концов, кому какое, чёрт побери, дело до какого-то там непонятного вируса с мудрёным названием, когда за аренду этого чёртова велосипеда нужно платить послезавтра до полудня, а в его холодильнике, купленном по дешёвке, сиротливо лежит лишь упаковка лапши быстрого приготовления и начавшая черстветь половинка батона. Реальность была проста и груба, и она требовала денег здесь и сейчас, не оставляя времени на размышления о глобальных катастрофах.

Следующий заказ, который высветился на дисплее телефона, прикрепленного к рулю, вёл его напрямик в деловой центр города — большой и навороченный суши-сет для какого-то несчастного офисного трудоголика, который по каким-то своим причинам застрял на работе далеко за полночь, корпя над отчётами или презентациями. Ной крутил педали с монотонной, механической размеренностью, чувствуя, как пот, выступивший на спине, постепенно пропитывает тонкую футболку под ветровкой, как мышцы бёдер и икр привычно гудят от непрерывного, изматывающего напряжения. Монотонное, ритмичное движение всегда помогало ему думать, раскладывать хаотичный ворох мыслей по аккуратным, пронумерованным полочкам в голове, превращая кашу из страхов и тревог в подобие стройной системы. Сейчас, однако, эти полочки были до самого верха забиты обрывками новостей, слухами с форумов, страшными картинками из анонимных каналов и странными, не поддающимися классификации ощущениями в собственном, пока ещё послушном теле.

Когда он переезжал старый автомобильный мост через давно обмелевший и заросший камышом городской канал, внизу, прямо на набережной, он заметил военный патруль. Двое молодых солдат срочной службы в полной боевой экипировке, с укороченными автоматами Калашникова, висящими на груди, проверяли документы у водителя старого, ржавого фургона с надписью «Хлеб» на боку. Это было новостью. Экстренной, тревожной новостью. Ещё

сегодня утром, когда Ной выезжал на свою первую доставку, никаких военных патрулей в городе не наблюдалось, и этот факт был важнее любых новостных сводок. Значит, ситуация ухудшалась быстрее, стремительнее, чем официально сообщали в эфире федеральных каналов, которые продолжали рассказывать о стабильности и контроле. Ной проводил патрульных долгим, задумчивым взглядом, пока велосипед катился по инерции с моста, и вдруг поймал себя на неожиданной, стыдной мысли, что он им немного завидует. У солдат было оружие, которое давало иллюзию контроля над ситуацией. У них были чёткие, недвусмысленные приказы, избавляющие от мук выбора. У них была определённость, пусть и ложная. А у него, у Ноя, был только выдавший виды велосипед, красная ветровка, которую давно пора было стирать, и странное, разрастающееся ощущение, будто внутри его черепа, прямо под костями, что-то медленно, но верно растёт, пульсирует и требует выхода.

К полуночи, вымотанный до предела, он наконец закрыл последний заказ. Повышенный коэффициент за скорость был честно заработан, скромные чаевые от благодарного полуночного офисного работника получены, все мышцы его тела приятно и тяжело ныли от усталости, словно после долгой тренировки. Ной медленно катил по абсолютно пустым, словно вымершим улицам спящего города, рассекая шинами лужи жёлтого, мутного света, льющегося из-под редких, чудом уцелевших фонарей. Он думал о том, что завтра, несмотря ни на что, нужно будет встать пораньше, часиков в шесть утра, и успеть добежать до круглосуточного супермаркета до того, как там соберутся очереди. Нужно купить те же маски, тот же антисептик, те же консервы с гречкой. Поддаться всеобщей панике, стать частью этого колоссального, колышущегося организма, покорно стоящего в очередях за товарами первой необходимости.

Он свернул в тёмную арку своего двора, пристегнул верный велосипед к ржавой, облупившейся трубе (это был уже третий велосипедный замок за год — предыдущие два были бессовестно спилены местными ночными умельцами с болгаркой) и тяжело поднялся на четвёртый этаж, перешагивая через ступеньку. Съёмная квартира-студия с унылым видом из окна на переполненные мусорные баки и глухую, без единого окна, стену соседнего дома встретила его запахом одиночества, застоявшейся пыли и невынесенного мусора.

Не раздеваясь, не снимая даже своей красной ветровки, он рухнул лицом вниз на продавленный, выдавший виды диван, который ему достался от предыдущих арендаторов. Синтетическая ткань ветровки приятно шуршала, согревая его измученное, продрогшее до самых костей тело. За окном снова и снова завывала сирена скорой помощи, проносившейся где-то в соседнем квартале, и этот надрывный, пронзительный звук, многократно отражённый и усиленный стенами-колодцами спального района, звучал как колыбельная песня нового, тревожного, навсегда изменившегося мира.

Ной уснул мгновенно, провалившись в глубокую, липкую, вязкую тьму без единого сновидения, словно кто-то просто выключил рубильник его сознания.

Пробуждение, когда оно наступило, было не просто неприятным — оно было страшным, чудовищным, невообразимым.

Ной с огромным трудом разлепил тяжёлые, словно налитые свинцом веки и далеко не сразу понял, где он находится и что вообще происходит с ним и с окружающей его реальностью. Комната плыла, вибрировала и искажалась, словно отражение в потревоженной, подёрнутой рябью воде. Грязно-белые, давно не видевшие ремонта стены дышали, ритмично и глубоко сужаясь и расширяясь, словно жабры гигантского, неведомого животного, проглотившего его

целиком. Потолок с облупившейся побелкой то угрожающе приближался, нависая прямо над лицом, так что хотелось вжать голову в плечи, то отдалялся, становясь недостижимо далёким, как небо над городом. И каждый этот цикл движения стен и потолка сопровождался глухим, мощным, ритмичным стуком, который отдавался во всём теле — это его собственное сердце, сбившееся со своего привычного ритма, билось теперь где-то не в груди, а у самого горла, отсчитывая секунды с неестественной, пугающей, механической размеренностью метронома.

В первую, ещё полусонную секунду он подумал, что всё ещё спит, что это просто кошмар, порождённый переутомлением, стрессом и просмотром бесконечной ленты ужасающих новостей на ночь. Но затем пришла она — боль. Тупая, пульсирующая, глубинная, она растекалась от затылка к вискам медленными, горячими волнами, опоясывая всю его черепную коробку раскалённым докрасна, невидимым обручем, который с каждой секундой сжимался всё туже и туже.

Глаза. Его глаза, которые так напугали мадам Грету, действительно горели. Не просто чесались или слезились — они в буквальном, физическом смысле излучали жар, и когда Ной с колоссальным трудом поднёс свои дрожащие, непослушные пальцы к лицу, он отчётливо почувствовал исходящее из глазниц тепло, словно там, глубоко внутри черепа, за хрусталиками и сетчаткой, тлели раскалённые угли невидимого пожара.

— Спокойно, только спокойно, — прошептал он вслух, пытаясь убедить самого себя, и звук собственного голоса испугал его до холодного пота на лбу. Голос изменился. Он стал ощущать ниже, глубже, в нём появились странные, незнакомые вибрирующие обертоны, словно говорил не один человек, а двое, трое, целый хор, звучащий в жутковатом унисоне, вторящий каждому слову с задержкой в долю секунды. — Спокойно. Это просто простуда. Обычная, банальная, осенняя простуда. Ничего особенного.

Но он знал, чувствовал это каждой клеточкой своего меняющегося тела, что это не простуда. Простуда не заставляет вены двигаться под кожей.

Ной заставил себя подняться с дивана, и каждое движение давалось ему с неимоверным трудом, словно он заново учился ходить. Ноги не слушались, колени подгибались, ступни подворачивались, а руки дрожали с такой амплитудой, что приходилось хвататься за стены, за косяки дверей, за спинку стула, чтобы добраться до ванной комнаты. Каждый крошечный шаг давался с боем, пол уходил из-под ног, как палуба во время качки, а желудок скручивали такие сильные приступы тошноты, что он несколько раз замирал на месте, боясь, что его вывернет прямо на пол в коридоре.

Ванная комната встретила его могильным холодом старого, пожелтевшего кафеля и вечным, застоявшимся запахом сырости и ржавых труб. Ной щёлкнул выключателем, и безжалостный, пронзительный свет люминесцентной лампы под потолком резанул по его воспалённым, гиперчувствительным глазам так, словно в лицо плеснули кислотой. Из глаз брызнули обильные слёзы, но это была не обычная защитная реакция. Слёзы были не прозрачными. Они оставляли на его бледных щеках мутные, слегка желтоватые, маслянистые разводы, похожие на гной, как если бы слёзные железы внезапно начали вырабатывать не физиологическую влагу, а какой-то чужеродный, инородный, отторгаемый организмом секрет.

Он заставил себя поднять голову и посмотреть в зеркало, висящее над раковиной.

Из мутного, старого зеркала на него смотрел человек, которого Ной знал всю свою жизнь, каждую минуту своего существования, но сейчас этот человек выглядел как совершенно чужой, незнакомый, пугающий. Кожа на лице приобрела нездоровый, землисто-сероватый оттенок, какой бывает у старых, выцветших фотографий в бабушкином альбоме. Под глазами залегли такие глубокие, такие тёмные, фиолетово-чёрные тени, словно он не спал неделю, а может, и две, словно его мучила жестокая бессонница. Белки глаз действительно покраснели чудовищно, но это было не простое раздражение, не лопнувшие от усталости сосудики. Капилляры на склерах полопались и растеклись, создавая на поверхности глазного яблока причудливый, пугающий узор, напоминающий русла кровавых рек на карте неведомого, гиблого континента.

Но самым страшным, самым невозможным, самым отрицаемым рассудком фактом были его зрачки. Они пульсировали, жили своей собственной, отдельной жизнью. Сужались и расширялись в каком-то своём, сумасшедшем ритме, который никак не был связан с яркостью освещения в ванной. Словно внутри его глаз, за радужной оболочкой, поселилось что-то отдельное, что-то обладающее собственной, чуждой волей и собственным, тёмным разумом.

— Твою мать, — выдохнул Ной, и двойной, многоголосый обертон в его голосе стал заметнее, слышнее, страшнее. — Твою мать, твою мать, чёрт тебя подери...

Он повторял это снова и снова как мантру, как заклинание, как шаманскую формулу, способную отогнать злых духов и вернуть реальность в привычное русло. Но реальность не отступала, не желала возвращаться в рамки привычного и объяснимого. Она наваливалась со всех сторон, давила на плечи, сжимала горло, заставляла сердце колотиться где-то у самого кадыка.

Ной дрожащей рукой открыл кран с холодной водой и с отчаянием плеснул ледяную воду в лицо. Вода показалась обжигающе, невыносимо ледяной, почти кипятком, но не принесла ни капли облегчения. Его кожа, которая всегда была чувствительной, теперь почти не чувствовала холода. Точнее, чувствовала, но как-то иначе — дистанцированно, будто между холодной водой и его нервными окончаниями пролегла невидимая, изолирующая прослойка из ваты или плотной резины.

Он стянул с себя мокрую от пота, неприятно пахнущую футболку и принялся осматривать своё тело в зеркале. Грудь, плечи, живот, даже бока — всё было покрыто густой красноватой сыпью, мелкой и частой, как потница у младенца, и такой же мучительно зудящей, что хотелось разодрать кожу ногтями до мяса. Ной провёл по сыпи дрожащей ладонью, и кожа отозвалась на прикосновение странным, отвратительным ощущением — будто под ней, в толще подкожной клетчатки, что-то шевелилось, извивалось, перекачивалось. Не мышцы, сокращающиеся в спазме. Не кровеносные сосуды, пульсирующие в такт сердцу. Что-то совершенно другое, чужеродное, не предусмотренное человеческой анатомией. Что-то живое и самостоятельное.

— Первая стадия, — произнёс он вслух, вспоминая обрывки статей и анонимных постов в интернете. — Лихорадка, слабость, покраснение глаз и слизистых оболочек.

Симптомы совпадали до отвратительного, до тошнотворного точно, вплоть до запятой. Он читал их десятки, если не сотни раз, пролистывая новостные ленты в своём телефоне по пути от заказа к заказу, и каждый раз, читая эти строки, думал про себя с глупой, самоуверен-

ной беспечностью: «Со мной этого не случится. Я слишком молод. Я слишком здоров. Я слишком осторожен для этого». Классическая, избитая логика человека, который искренне считает себя бессмертным и неуязвимым ровно до того самого момента, пока смерть, или то, что приотворяется смертью, не постучится в его дверь. Сейчас смерть не просто вежливо стучалась. Она взламывала дверь с ноги.

Ной, шатаясь, вернулся в комнату и снова рухнул на диван, пытаясь собрать воедино разбегающиеся, как тараканы от света, мысли в подобие связной и логичной картины. Итак, что мы имеем? Факты — упрямая вещь. Он заражён. Волнийским синдромом. Таинственным вирусом, от которого нет ни вакцины, ни лекарства, ни даже внятного, утверждённого Минздравом протокола лечения, кроме симптоматической терапии и строгого, изолирующего карантина.

Карантин.

Эта простая, но страшная мысль ударила его, как разряд электрического тока, как выстрел в упор. Если он заражён, если вирус уже течёт в его крови и перестраивает его клетки, то он представляет собой реальную, смертельную опасность для всех окружающих. Для соседей, которые спят за тонкими стенами. Для клиентов, которым он вчера доставлял заказы. Для всех тех десятков, сотен людей, с которыми он так или иначе контактировал в последние дни, разнося заразу по городу. Каждый его звонок в дверь, каждая передача пакета с едой, каждое случайное, мимолётное прикосновение пальцами — всё это могло стать причиной чьей-то болезни, чьей-то агонии, чьей-то трансформации.

Перед его внутренним взором снова всплыло лицо мадам Греты, её хриплый, прокуренный голос, её неприкрытый, животный страх в выцветших глазах. «У вас глаза красные». Она заметила, старая карга. Заметила ещё тогда, за несколько часов до того, как он сам в полной мере осознал происходящее с ним. А он лишь отмахнулся, глупо соврал про аллергию и уехал, чтобы развезти заразу дальше по спящему городу, словно почтальон смерти.

Ной застонал в голос. Звук получился низким, гортанным, утробным, больше похожим на рычание раненого и загнанного в угол зверя, чем на человеческий стон. Он сам испугался этого звука, вырвавшегося из его горла. Испугался того, что его тело начинает жить своей собственной, автономной жизнью, издавать собственные, чуждые звуки, не подчиняющиеся контролю его сознания и воли.

Нужно было действовать, и действовать быстро. Звонить в скорую. Сообщать о симптомах. Требовать немедленной госпитализации и полной изоляции. Это было единственно правильным, единственно социально ответственным и единственно разумным решением во всей этой ситуации.

Но вместо того чтобы взять телефон, он продолжил лежать на диване, глядя в потолок, который всё ещё ритмично пульсировал в такт его сердцебиению. И где-то на самой границе сознания, в той тёмной, илистой области души, куда обычно не заглядывают при свете дня, зарождалась странная, пугающая, завораживающая мысль. Мысль о том, что боль, ломающая сейчас его тело, — это не просто симптом болезни. Это трансформация. Изменение. Эволюция.

Он вспомнил одну из конспирологических теорий, которую читал вчера ночью, пролистая бесконечную ленту новостей. Какой-то анонимный биолог с тремя высшими образова-

ниями и, судя по манере письма, лёгкой формой шизофрении утверждал, что Волнийский синдром — это не болезнь в классическом понимании этого слова. Это — адаптация. Отчаянная попытка человеческого организма приспособиться к чему-то принципиально новому, с чем он никогда не сталкивался за всю историю своего существования. Вирус не убивает носителя, писал анонимный биолог. Вирус договаривается с ним. Заключает сложный симбиотический союз. Меняет его, чтобы сделать сильнее.

Тогда, при свете дня, Ной посмеялся над этой теорией и пролистал дальше, к мемам с забавными котами. Сейчас, в четыре часа утра, ему было не до смеха. Потому что он чувствовал это каждой клеткой. Чувствовал, как что-то внутри него — не клетки, не органы, а что-то более тонкое, более фундаментальное — вступает в диалог с инородным присутствием. Как два разных языка, две системы коммуникации пытаются найти общий алфавит.

Он закатал рукав и уставился на свою руку. На коже, чуть ниже локтевого сгиба, проступали вены. Обычно голубоватые, сейчас они приобрели тёмный, почти чёрный оттенок. И они двигались. Медленно, едва заметно, но неоспоримо — вены смещались под кожей, меняли своё положение, словно корни растения, ищущего воду.

Ную стало по-настоящему страшно. Не той обыденной тревогой, которую он испытывал, читая новости или глядя на военные патрули. Это был глубинный, животный ужас, поднимающийся откуда-то из рептильного отдела мозга. Ужас существа, которое обнаружило, что его тело ему больше не принадлежит. Он вскочил с дивана и заметался по комнате. Четыре шага до окна. Четыре шага обратно. Пол скрипел под ногами, эхо металось между голых стен, а дыхание — хриплое, частое, неестественно глубокое — вырывалось из груди с присвистом.

Остановившись у окна, Ной прижался горячим лбом к холодному стеклу. Двор внизу был пуст и тих. Фонарь мигал, создавая стробоскопический эффект: свет — тьма — свет — тьма. В этом ритмичном мелькании привычный мир казался декорацией к плохому фильму ужасов. Мусорные баки отбрасывали рваные тени. Припаркованные машины напоминали притаившихся животных. А где-то вдалеке, на пределе слышимости, снова завывала сирена. Ещё одна скорая. Ещё один заражённый. Ещё одна жизнь, летящая под откос.

Ной закрыл глаза и попытался успокоиться. Медитация. Дыхательные упражнения. Он читал где-то, что это помогает при панических атаках. Вдох на четыре счёта. Задержка на семь. Выдох на восемь. Он начал считать, но цифры путались, перескакивали с четвёрки сразу на девятку, с семёрки на нуль, и в какой-то момент он понял, что считает не про себя, а вслух, на каком-то языке, которого не знает.

Слова были чужими. Гортанными, щёлкающими, совершенно не похожими на человеческую речь. Они срывались с его губ, как будто кто-то другой управлял голосовыми связками. Ной резко замолчал, прикусив язык до крови. Кровь имела металлический привкус, но с какой-то непривычной, сладковатой нотой. Как если бы к железу примешивалась патока.

Он не знал, сколько прошло времени. Минуты? Часы? Время утратило свою линейную структуру, распалось на фрагменты, которые никак не желали складываться в единую картину. Сознание то прояснялось до пугающей отчётливости, то заволакивалось туманом, сквозь который пробивались лишь отдельные образы и ощущения. Жар. Озноб. Жажда. И снова жар.

В какой-то из моментов просветления Ной обнаружил себя сидящим на полу в кухне. Холодильник был открыт, его мертвенный свет заливал помещение. Руки Ноя сжимали упаковку сырого фарша — он покупал его позавчера, собираясь приготовить котлеты, да так и не собрался. Пластиковая обёртка была разорвана. Пальцы, перепачканные кровью и мясным соком, подносили куски сырого мяса ко рту.

Ной с ужасом смотрел на свои руки, но не мог остановить их. Мышцы не слушались приказов мозга. Тело действовало автономно, подчиняясь какому-то древнему, глубинному инстинкту, о существовании которого Ной даже не подозревал. Голод. Не обычный, человеческий голод, который можно утолить бутербродом или тарелкой супа. Это был голод иного порядка — всепоглощающая, выжигающая изнутри потребность в чём-то, чего обычная пища дать не могла.

Сырой фарш не помогал. Он заполнял желудок, но не утолял голод. Этот парадокс сводил с ума. Ной чувствовал себя топкой, в которую бросают уголь, но пламя требует не угля, а чего-то принципиально иного.

Он отбросил остатки фарша и забился в угол кухни, обхватив колени руками. Красная ветровка, которую он так и не снял, шуршала при каждом движении, и этот звук внезапно стал самым родным и успокаивающим во всём мире. Словно кусок прежней жизни, цепляясь за который, можно сохранить рассудок.

— Я — Ной, — произнёс он вслух, прислушиваясь к двойному эху в голосе. — Мне двадцать пять лет. Я работаю курьером. Я живу в четвёртой квартире, дом семнадцать, улица Строителей. Мой велосипед пристёгнут во дворе. Моя любимая ветровка — красная.

Он перечислял факты, якоря, которые удерживали его личность от распада. С каждым словом туман в голове немного рассеивался, и контроль над телом возвращался — не полностью, частично, но этого хватало, чтобы не начать разрывать зубами упаковку куриных окорчков.

Где-то глубоко внутри, на молекулярном уровне, шла война. Или не война — переговоры. ДНК Ноя, уникальный генетический код, формировавшийся тысячелетиями эволюции, столкнулся с чем-то, что не вписывалось в привычную картину мира. Чужеродный генетический материал — вирус или нечто более сложное — пытался переписать этот код, вставить в него свои инструкции, свои команды. И самое страшное заключалось в том, что организм Ноя не сопротивлялся. Его тело приняло захватчика. Распахнуло перед ним двери. Начало адаптироваться.

Ной понял это по тому, как менялись ощущения. Если час назад он чувствовал боль, то теперь боль отступала, сменяясь чем-то иным — эйфорией, почти наркотическим подъёмом. Тело наполнялось энергией, чуждой и пугающей. Мышцы наливались силой. Слух обострился до такой степени, что он слышал, как в квартире этажом выше капает вода из неплотно закрытого крана. Зрение изменилось: тени в углах комнаты стали глубже, объёмнее, а свет, наоборот, приобрёл резкость, от которой резало глаза.

Но самым удивительным было обоняние. Мир запахов раскрылся перед ним, как объёмная карта. Ной чувствовал запах плесени за обоями. Запах ржавчины в водопроводных трубах. Запах старого жира, въевшегося в вытяжку. И ещё один запах — резкий, мускусный, тревож-

ный. Запах живых существ. Запах людей, которые находились в соседних квартирах. И этот запах пробуждал в нём то самое чувство голода, которое не могли утолить ни сырой фарш, ни куриные окорочка.

Он понял это с ужасающей ясностью. Голод требовал не мяса. Голод требовал контакта. Близости. Передачи чего-то — не важно, чего именно, — другому живому существу. Вирус внутри него хотел распространяться. И тело Ноя было лишь инструментом этого распространения.

— Нет, — сказал он твёрдо, обращаясь к самому себе, к вирусу, к тому симбиотическому «мы», которое зарождалось где-то на стыке человеческого и чужеродного. — Нет. Я не стану этого делать. Я не стану.

Ответа не было. Только пульсация в висках, только тёмные вены под кожей, только запахи соседей, от которых рот наполнялся слюной.

Ной встал, цепляясь за стену, и побрёл обратно в комнату. Там он нашёл свой телефон — старую модель с треснувшим экраном, которую давно пора было менять. Руки всё ещё дрожали, но уже не так сильно. Он открыл приложение вызова такси, потом закрыл. Открыл новости, но буквы плыли, не желая складываться в слова. Открыл мессенджер и уставился на список контактов.

Кому написать? Матери? Она в другом городе, она ничего не сможет сделать, только будет волноваться и плакать. Другам? Их у него было немного, и отношения в последнее время держались скорее на привычке, чем на реальной близости. Девушке? Последняя рассталась с ним полгода назад, заявив, что он «эмоционально недоступен».

Он был один. Абсолютно, космически один — один на один с чужим присутствием в собственном теле. Экран телефона мигнул и погас. Ной не стал его заряжать. Вместо этого он снова подошёл к окну и уставился на пустой двор, на мигающий фонарь, на город, который засыпал, не зная, что проснётся уже другим.

Вспышка света на мгновение осветила его лицо, отразившееся в тёмном стекле. И Ную показалось — или не показалось? — что его зрачки на долю секунды стали вертикальными, как у змеи. Или как у чего-то, для чего в человеческом языке ещё не придумали названия.

Волнийский синдром. Четыре стадии распада личности. Он знал, что его ждёт. Знал по статьям, по слухам, по анонимным свидетельствам. Вторая стадия — спутанность сознания и агрессия. Третья — полный распад личности и неконтролируемые вспышки ярости. Четвёртая — смерть.

Но Ной чувствовал, что с ним происходит что-то иное. Что стандартная схема даёт сбой. Что его личность не распадается на части, а наоборот — сплавляется с чем-то новым, создавая невиданный доселе гибрид. Он всё ещё был собой. Он помнил своё имя, свой возраст, свою красную ветровку. Но он также был кем-то — или чем-то — ещё. Чем-то, что хотело жить, распространяться, менять мир под себя.

И это «что-то» было чертовски убедительным. За окном занимался серый, пасмурный рассвет. Первый день новой жизни. Или первый день конца прежней. Ной ещё не знал этого. Он

знал только, что голод никуда не делся — он затаился, как хищник перед прыжком, выжидая удобного момента.

Город просыпался. Сирены скорых выли теперь непрерывно. И в этом хоре тревоги Ной слышал нечто странное — зов. Приглашение. Обещание. Он ещё сопротивлялся. Но с каждой минутой, с каждым ударом сердца, с каждой новой секундой сопротивляться становилось всё труднее. Вирус не просто менял его тело. Он менял его сущность. И конечный результат этой трансформации не мог предсказать никто — ни сам Ной, ни врачи, ни анонимные биологи с их безумными теориями.

Красная ветровка висела на спинке стула, как сброшенная кожа. Ной машинально потянулся к ней, и синтетическая ткань отозвалась на прикосновение. Она всё ещё пахла улицей, бензином, осенним ветром — старой жизнью, которая заканчивалась прямо сейчас.

Он надел её. Медленно, словно облачаясь в доспехи. Застегнул молнию до самого подбородка. Поднял капюшон. В зеркале отразилась фигура — человек в красном, с бледным лицом и тёмными кругами под глазами. Человек, который ещё вчера развозил заказы и думал о квартплате, а сегодня стал эпицентром чего-то, что изменит всё.

Ной улыбнулся своему отражению — и не узнал эту улыбку. Город ждал его. Вирус внутри — тоже. И никто из них не собирался ждать долго. Где-то внизу хлопнула входная дверь подъезда. Шаги. Запах — резкий, манящий, невыносимо притягательный. Голод взвыл внутри, требуя действий. Ной закрыл глаза и начал считать. Медленно. На том языке, которого не знал. Гортанные, щёлкающие звуки заполнили комнату. Первый день нулевого пациента начался.

Глава 2. Голос в голове

Время перестало существовать. Не просто замедлилось или ускорилось, не растянулось резиновой лентой или сжалось в тугую пружину, а именно перестало существовать как физическая, измеримая величина, как фундаментальная константа, на которой Ной строил всю свою предыдущую жизнь. Минуты, часы, дни, недели — все эти аккуратные, придуманные человечеством ячейки, в которые оно на протяжении тысячелетий упаковывало хаос бытия, рассыпались в прах, превратились в пустой, ничего не значащий звук. В бессмысленный шум, вроде шороха осенних листьев за окном или гула далёкой автомагистрали. Курьерское прошлое с его жёсткими дедлайнами, горящими таймерами в приложении, штрафами за опоздания, поминутно расписанными маршрутами и лихорадочной гонкой за повышенным коэффициентом казалось теперь не просто другой жизнью, а чьей-то чужой, случайно подгруженной в его сознание памятью. Фильмом, который он посмотрел когда-то очень давно, в другом тысячелетии, и от которого остались лишь смутные, размытые образы — мелькание красной ветровки в сером потоке машин, холодный ноябрьский ветер на разгорячённом лице, надрывный вой сирен скорой помощи где-то в соседнем квартале. И голос мадам Греты, её хриплое, прокурное: «У вас глаза красные, молодой человек».

Сейчас его глаза не были красными. Они вообще не были человеческими. Но об этом он старался не думать. Вернее, думать об этом было нельзя, потому что стоило ему позволить своему сознанию зацепиться за эту мысль, как оно начинало падать в такую бездонную, чёрную пропасть ужаса и отчаяния, выбраться из которой с каждым разом становилось всё труднее и труднее. Падать, кувыркаясь и разбиваясь о невидимые стены, — туда, где не было ни дна, ни выхода, ни надежды на возвращение.

Первое, что он осознал, когда острая, лихорадочная фаза трансформации миновала, когда его тело перестало гореть в огне и ломаться в судорогах, когда вирус, или то, что называло себя вирусом, закончило свою страшную, кропотливую работу по перестройке его организма, — это запах. Не тот многогранный, объёмный, стереоскопический запах мира, который открылся ему в первые часы заражения, когда обоняние обострилось до нечеловеческих пределов и он мог различить аромат плесени за обоями и металлический привкус воды в трубах. Нет, это был другой запах. Запах, который шёл не снаружи, а изнутри. Запах его собственного тела. Запах гниющей плоти.

Он чувствовал его постоянно, непрерывно, двадцать четыре часа в сутки, и не существовало такой силы воли, такого самовнушения, такой медитации, которая могла бы заставить его исчезнуть или хотя бы притупиться. Сладковатый, тошнотворный, пробирающий до самых костей аромат разлагающихся тканей, который источала его кожа, его мышцы, его внутренние органы. Запах, который Ной помнил из случайных, неприятных встреч на улице — так пахло от мёртвых голубей в подворотнях, от сбитых на трассе животных, от забытого кем-то на жаре мусорного пакета с протухшим мясом. Только теперь этот запах был его собственным. Он шёл из его пор, выделялся с потом, сочился из-под ногтей, выдыхался из лёгких. Он пропитал одежду, мебель, стены квартиры, и сколько бы Ной ни открывал окна, впуская промозглый декабрьский воздух, сколько бы ни пытался мыться, стоя под ледяным душем часами, отскребая омертвевшую, шелушащуюся кожу жёсткой мочалкой до мяса, избавиться от него не удавалось. Он въелся в самую суть его нового существования, стал неотъемлемой частью его новой личности, его проклятием и его напоминанием о том, кем — или чем — он теперь стал.

Впрочем, запах был не самым страшным. Совсем не самым. Самым страшным было то, что он продолжал осознавать себя.

Сознание не угасло. Не растворилось в лихорадочном бреде, не погасло, как свеча на ветру, не уступило место животным инстинктам и бездумной, механической агрессии, которую новостные каналы и анонимные телеграм-каналы приписывали всем заражённым на второй и третьей стадиях Волнийского синдрома. Вместо этого, вопреки всем законам биологии и здравого смысла, вопреки страшным прогнозам врачей и паническим статьям в интернете, оно осталось. Уцелело. Сохранилось в полном, пугающем, невыносимом объёме. Ной по-прежнему был Ноем — двадцатипятилетним бывшим курьером, бывшим недоучившимся студентом-биоинженером, бывшим человеком, который любил носить красную ветровку, слушать старый панк-рок в наушниках и гонять на велосипеде по ночному городу. Он помнил всё — каждую деталь своей прежней жизни, каждое событие, каждую встречу, каждый заказ, каждый маршрут, каждую чашку дешёвого растворимого кофе, выпитую в перерыве между доставками. Его память, его личность, его «я» — всё это каким-то непостижимым, чудовищным образом уцелело в гниющей, разлагающейся заживо оболочке, словно пассажир, запертый в каюте тонущего, но никак не желающего уходить под воду корабля. Это было самой жестокой шуткой вируса. Или самым щедрым подарком — Ной ещё не решил.

Тело больше не слушалось его так, как раньше. Вернее, слушалось, но иначе — через преодоление, через усилие, через постоянную, изматывающую борьбу с чем-то, что поселилось внутри и постоянно пыталось перехватить контроль. Представьте себе, что вы пытаетесь управлять сложным механизмом, экзоскелетом или огромным роботом, с которым вас соединяет тонкая, ненадёжная нить нервных окончаний, постоянно грозящая оборваться от малейшего напряжения. Представьте, что каждое движение — поднять руку, повернуть голову, сделать шаг вперёд — требует такой концентрации и таких волевых усилий, словно вы ворочаете многопудовые валуны. Сигналы от мозга доходили до мышц с чудовищной, невыносимой задержкой, словно пробивались сквозь толстый слой вязкой, липкой патоки или мутного, болотного ила. Ной думал: «Поднять правую руку» — и проходила целая секунда, а иногда и две, прежде чем рука начинала медленно, рывками, словно управляемая неумелым кукловодом, подниматься в воздух. Он думал: «Повернуть голову налево» — и мышцы шеи сокращались с отвратительным, влажным хрустом, будто рвались невидимые нити, удерживающие позвонки вместе.

Движения его больше не были плавными, текучими, человеческими. Они стали рваными, дёргаными, угловатыми, неуклюжими, как у сломанной марионетки в руках пьяного кукольника. Ходьба превратилась в сложный, почти непосильный процесс, требующий полной сосредоточенности: переставить правую ногу, перенести на неё вес тела, не потерять равновесие, переставить левую ногу, снова поймать баланс, и так до бесконечности, шаг за мучительным шагом. Бег был исключён полностью — тело просто не понимало, как координировать такое количество быстрых движений одновременно. Речь, его человеческая речь, тот уникальный инструмент коммуникации, который отличал его от животных, превратилась в набор низких, гортанных, нечленораздельных звуков, больше похожих на рычание раненого зверя, чем на членораздельную речь. Голосовые связки, по-видимому, подверглись одной из самых серьёзных трансформаций и теперь издавали только этот утробный, вибрирующий хрип, который пугал даже его самого. Единственное, что осталось от прежнего Ноя в плане речи, — это способность издавать тот странный, щёлкающий, гортанный язык, который он впервые услышал от самого себя в ночь заражения. Язык вируса. Но он не знал его значения и боялся даже пытаться его использовать, опасаясь, что это окончательно разбудит то, что дремало внутри.

Но, несмотря на всё это — на запах гниющей плоти, на предательское, непослушное тело, на неспособность говорить и двигаться как человек, — он всё ещё был там. Он всё ещё был Ноем. Его разум, его личность, его душа, если таковая имелась, оказались запертыми в этом медленно разлагающемся, но всё ещё функционирующем теле, как в тюремной камере строгого режима, из которой не существовало выхода — ни условно-досрочного, ни по амнистии, ни через побег. И самое страшное, самое невыносимое во всей этой ситуации заключалось в том, что он не знал, было ли это аномалией, уникальным сбоем в программе вируса, редчайшим отклонением от стандартного течения болезни, или же все заражённые — все те, кого общество уже списало со счетов как безмозглых, агрессивных монстров, — проходили через то же самое. Сохраняли ли они сознание? Понимали ли они, что с ними происходит? Осознавали ли они свой ужас, свою боль, свою обречённость? Кричали ли они внутри своих мёртвых тел так же, как кричал Ной, — беззвучно, отчаянно, безнадёжно?

Эта мысль была настолько чудовищной, настолько невыносимой, что он гнал её от себя каждый раз, когда она пыталась просочиться в его сознание. Потому что если это было правдой — если каждый бродящий по улицам города заражённый, каждый агрессивный зомби из новостных репортажей, каждый объект для отстрела военных патрулей — сохранял внутри себя человеческое сознание, — то реальность была ещё страшнее, чем самые мрачные анти-утопии.

Первые дни — или то, что он субъективно воспринимал как дни, потому что солнце за окном вставало и садилось, а его внутренние часы, его циркадные ритмы, каким-то чудом уцелевшие после трансформации, продолжали отмерять циклы сна и бодрствования, — Ной провёл, забившись в самый тёмный, самый дальний угол своей съёмной квартиры. Между стеной и старым, продавленным диваном, на котором он провёл столько ночей своей прежней, человеческой жизни, образовалась узкая, тесная щель, куда почти не проникал солнечный свет из окна. Он сидел там, обхватив колени руками — этот жест, эта поза эмбриона, осталась с ним из прошлой жизни как инстинктивная попытка защититься от враждебного мира, — и прислушивался к звукам, доносящимся снаружи. К вою сирен, которые теперь звучали не умолкая, создавая непрерывный, тревожный фон, к отдалённым крикам, к глухим выстрелам где-то в соседних кварталах, к гулу военных вертолёт, проносящихся над крышами домов. К звукам умирающего, погружающегося в хаос города.

Голод — тот самый всепоглощающий, выжигающий изнутри голод, который он впервые ощутил в ночь своей трансформации, когда пожирал сырой фарш из холодильника, — никуда не делся. Напротив, он стал сильнее, глубже, требовательнее. Он превратился в постоянный, изнуряющий, ни на секунду не затихающий гул где-то в глубине его существа, в фоновый шум, который сопровождал каждое его движение, каждую мысль, каждый вдох. Но, к его собственному удивлению и облегчению, этот голод оказался не тем, о чём писали в панических статьях и что показывали в голливудских фильмах ужасов. Это не была безудержная, животная жажда свежей человеческой плоти, горячей крови и живого мозга. Нет, это было что-то более сложное, более тонкое, более изощрённое. Это был не голод в привычном, физиологическом смысле слова — это была потребность. Настоячивая, непреодолимая, пульсирующая потребность передать вирус дальше. Распространить его. Поделиться им. Заразить.

Вирус внутри него, или то, что он предпочитал называть вирусом за неимением лучшего термина, хотел жить. И для этого ему нужны были новые носители, новые тела, новые квартиры

для заселения. Тело Ноя было лишь первым домом, первой захваченной территорией в долгой кампании, и теперь оно требовало расширения, экспансии, завоевания новых земель.

Ной держался. Сцепив зубы — в буквальном смысле, потому что его челюсти теперь постоянно норовили сжаться в спазме, а зубы, ставшие какими-то более прочными и острыми, неприятно скрежетали друг о друга, — он сопротивлялся этому зову. Он повторял себе снова и снова, как мантру, как заклинание, как последнюю ниточку, связывающую его с человечностью: он не станет орудием распространения заразы. Он не станет тем, кто принесёт этот кошмар в чужие дома, к чужим семьям, к чужим детям. Даже если для этого ему придётся просидеть в этой тёмной щели за диваном вечность. Даже если голод сведёт его с ума. Даже если его тело окончательно разложится и превратится в грудку гниющей плоти.

На пятый день (или на шестой? Он сбился со счёта, пытаясь вести календарь, но цифры в его голове путались, а солнце за грязным окном вставало и садилось, кажется, уже без всякой связи с привычным двадцатичетырёхчасовым циклом) он сделал важное открытие, которое, возможно, спасло его рассудок. Он обнаружил, что, в отличие от других заражённых, которых он изредка видел из своего окна — те беспорядочно, хаотично бродили по двору, натываясь на стены и друг на друга, издавая непрерывные, леденящие душу стоны, — он мог стоять на месте часами. Абсолютно неподвижно. Не издавая ни единого звука.

Это было неестественно, это было жутко, это противоречило всем законам биологии и физиологии, но это работало. Ной обнаружил эту способность случайно, когда в очередной раз выглядывал в окно. Он поймал себя на том, что стоит у подоконника уже, кажется, целую вечность, не шевелясь, не моргая, не дыша — потребность в дыхании, кстати, тоже почти исчезла, грудная клетка лишь изредка совершала слабые, поверхностные движения, словно лёгкие забыли, как работать, а тело научилось обходиться без кислорода. Он стоял, как статуя, как изваяние, как предмет мебели, и это получалось у него совершенно естественно, без малейших усилий. Без той мучительной борьбы с непослушным телом, которая требовалась для любого активного движения. Стоять на месте было легко, приятно, почти комфортно.

Это была уникальная способность, которой, насколько он мог судить по своим наблюдениям за «собратьями по несчастью» внизу, не обладал больше никто. И это была способность, которая могла помочь ему выжить. Или, по крайней мере, не быть уничтоженным военными патрулями, которые прочёсывали город квартал за кварталом.

Он начал экспериментировать. Осторожно, медленно, шаг за шагом. Сначала — просто стоять у окна, не шевелясь, наблюдая за тем, как солнце ползёт по серому декабрьскому небу, как тени удлиняются и укорачиваются, как редкие снежинки падают на карниз и тают, оставляя мокрые пятна. Затем — перемещаться по квартире, но не обычной, дёрганой походкой заражённого, а медленно, плавно, бесшумно, словно он крадётся к добыче. Словно он хищник, маскирующийся под ветер, под тень, под пустоту. Это требовало колоссальной концентрации, полного сосредоточения на каждом движении, на каждом сокращении мышц, но с каждым разом получалось всё лучше и лучше. Тело постепенно, нехотя, со скрипом, но подчинялось его воле. Подчинялось не вирусу, не инстинктам, а ему — Ною, человеку внутри монстра.

А потом он нашёл красную ветровку. Она валялась там же, где он её оставил в ночь трансформации — на спинке старого продавленного стула, придвинутого к обеденному столу. Скомканная, мятая, покрытая пятнами пота и ещё каких-то жидкостей, происхождение которых ему не хотелось выяснять. Но когда Ной увидел её — этот яркий, кричащий, вызываю-

щий цвет запёкшейся крови в сером, унылом полумраке его квартиры, — что-то внутри него дрогнуло. Что-то, что он считал уже давно и безнадежно умершим, погребённым под слоями новой, чужеродной плоти. Какая-то крошечная искра человечности, которую не смог погасить даже вирус.

Он протянул к ней свою руку — серую, с обломанными, почерневшими ногтями, с проступающими сквозь истончившуюся кожу тёмными, почти чёрными венами — и коснулся синтетической ткани. Ткань была холодной на ощупь, но его пальцы, утратившие почти всю тактильную чувствительность, всё равно узнали её. Узнали эту специфическую, чуть шершавую текстуру, этот характерный шуршащий звук, который она издавала при малейшем движении. И вместе с этим тактильным воспоминанием в его сознание хлынул целый поток образов, звуков и запахов из прошлой жизни. Ветер в лицо, когда он мчится на велосипеде по ночному проспекту, рассекая лужи. Термосумка за спиной, приятно согревающая лопатки в холодный ноябрьский вечер. Голос навигатора, монотонно диктующий маршрут. Лица клиентов — раздражённые, сонные, благодарные, испуганные. Запах пиццы и суши, пробивающийся сквозь термопакет. Свобода. Движение. Жизнь.

Он понял, что эта ветровка — не просто предмет одежды, не просто кусок синтетической ткани. Это был его якорь. Его талисман. Его связь с тем человеком, которым он когда-то был. С тем Ноем, который ещё не знал, что такое Волнийский синдром, что такое гниющая заживо плоть и нечеловеческий голод, выжигающий изнутри. Это был единственный мост между его прошлой, человеческой жизнью и тем кошмаром, в который превратилось его настоящее.

Он надел её. С колоссальным трудом, борясь с непослушными, дёргающимися руками, которые так и норовили порвать тонкую синтетическую ткань своими заострившимися, почерневшими ногтями, он просунул руки в рукава, запахнул полы, застегнул молнию до самого подбородка и накинул на голову глубокий капюшон. И едва ткань коснулась его кожи, едва капюшон скрыл его изуродованное, серое, с провалившимися глазами лицо в тени, он почувствовал себя лучше. Не хорошо — «хорошо» навсегда ушло из его лексикона, — но лучше. Как будто эта тонкая, шуршащая синтетика создала барьер между ним и миром. Как будто она спрятала его уродство, его новую сущность от чужих, осуждающих, ужасающихся взглядов. Как будто она позволила ему снова почувствовать себя человеком, а не чудовищем.

С этого дня он не снимал её. Никогда. Ни на минуту. Ветровка стала его второй кожей, его панцирем, его саваном. Он спал в ней — вернее, впадал в то странное состояние оцепенения, которое заменяло ему теперь сон, — забившись в свой угол за диваном, уткнувшись лицом в колени. Он ел в ней — если можно было назвать едой то, что он делал с остатками продуктов из своего холодильника и шкафчиков; обычная еда, как он быстро выяснил, не утоляла голод, но помогала немного отвлечься, занять рот, дать мышцам челюсти привычную работу. Он просто жил в ней, как улитка живёт в своей раковине, как затворник в своей келье, как безумец в своей смиренной рубашке.

Капюшон стал его главным спасением. Глубокий, просторный, он отбрасывал густую, непроницаемую тень на его лицо, скрывая от мира — и от него самого, когда он случайно проходил мимо зеркала, — ту чудовищную метаморфозу, которая произошла с его внешностью. Впалые, обведённые чёрными кругами, горящие тусклым, нечеловеческим светом глаза, которые больше не были человеческими. Провалившиеся щёки с проступающими сквозь истончившуюся, пергаментную кожу скулами. Почерневшие, потрескавшиеся губы, за которыми угадывались изменившиеся, заострившиеся зубы. Серую, с желтоватым оттенком, местами

шелушающуюся и слезающую лоскутами кожу. Капюшон скрывал всё это, и в его спасительной тени Ной мог почти представить, почти убедить себя, что он всё ещё прежний, что ничего не изменилось, что кошмар закончился.

Обоняние, ставшее сверхъестественно острым, превратилось в отдельную пытку. Оно доносило до него мир во всей его тошнотворной полноте. Он слышал, как пахнет ржавчина в водопроводных трубах, как пахнет старый, протухший мусор в подъезде, как пахнет бензин из проезжающих машин и гарь от далёких пожаров. Но самым сильным, самым невыносимым, самым желанным и одновременно отвратительным запахом был запах живых людей. Он доносился от соседей — с верхнего этажа, из квартиры напротив, из подъезда. Тёплый, мускусный, наполненный солью и чем-то ещё, чему Ной не мог подобрать названия, этот запах проникал сквозь бетонные стены, просачивался сквозь вентиляционные шахты, всплывал в открытые окна, как дразнящий, манящий аромат самой жизни. И каждый раз, когда Ной чувствовал его, голод внутри просыпался и начинал выть, требуя немедленных действий.

Он боролся с этим воем. Каждый день. Каждый час. Каждую минуту. Но однажды голос внутри него заговорил по-настоящему. Это случилось на исходе второй недели. Ной сидел в своём углу за диваном, завернувшись в красную ветровку, как в кокон, и пытался вспомнить слова песни, которую любил слушать в наушниках во время своих курьерских смен. Какой-то старый панк-рок, что-то про свободу и протест, но слова ускользали, распадались, как и многое другое из его прошлой жизни. И вдруг в его голове, отчётливо и ясно, как если бы кто-то наклонился к самому уху и произнёс это вслух, раздался голос.

Голос был чужим. Совершенно, абсолютно, пугающе чужим. Он не походил ни на один человеческий голос, который Ной когда-либо слышал. Он был глубже, ниже, богаче обертонами, в нём звучали какие-то нечеловеческие, вибрирующие, потусторонние ноты. Но говорил он на чистейшем, правильном, литературном русском языке, без малейшего акцента, без единой грамматической ошибки, и в его интонациях сквозило что-то почти доброжелательное, почти сочувственное.

Ты не сможешь прятаться здесь вечно, Ной. Рано или поздно тебе придётся выйти. И чем дольше ты тянешь, тем труднее тебе будет это сделать. Ты же знаешь это. Ты всегда знал.

Ной вздрогнул всем телом — насколько это было возможно при его нынешней, ограниченной подвижности. Он резко вскинул голову, оглядел комнату, хотя прекрасно знал, что в квартире никого нет и быть не может. Дверь была заперта изнутри на все замки, окна закрыты, и даже если бы кто-то захотел проникнуть внутрь, он бы услышал это заранее.

— Кто здесь? — попытался спросить он, но из горла, как обычно, вырвался лишь низкий, утробный, нечленораздельный хрип, отдалённо напоминающий человеческую речь. Слова были утеряны, остались только интонации, только отчаянная попытка быть понятым.

Не утруждай себя, Ной. Твои голосовые связки больше не приспособлены для человеческой речи — я забрал их для своих целей. Но мы можем общаться иначе. Прямо здесь, в твоей голове. Разве это не удобно? Никаких посредников, никаких помех. Чистая, непосредственная коммуникация разума с разумом.

Ной замер. Мысль, которая пришла к нему, была настолько очевидной, настолько страшной, что он несколько долгих секунд отказывался её принимать. Но выбора не было. Реальность

настойчиво стучалась в его сознание. Голос в голове. Голос, который знает его имя. Голос, который говорит о его теле — «я забрал». Это могло означать только одно.

Да, ты правильно догадался. Я — это я. Тот самый, кого вы называете вирусом, инфекцией, заразой, Волнийским синдромом. Все эти термины неполны и неточны, но для простоты общения сойдут и они. Ты и я теперь — единое целое. Симбиоз. Взаимовыгодное партнёрство. И чем быстрее ты это примешь, тем легче нам обоим будет существовать в этом новом, интересном мире.

— Ты... ты разрушил мою жизнь, — мысленно произнёс Ной, и это получилось у него на удивление легко, словно в его голове всегда был этот канал связи. — Ты превратил меня в монстра. В ходячий труп. Ты лишил меня всего — работы, друзей, будущего, возможности просто выйти на улицу и не быть подстреленным первым же патрулём.

Я дал тебе силу, — ответил голос с какой-то странной, почти оскорбительной мягкостью в интонациях, словно родитель, объясняющий простые истины капризному ребёнку. — Я дал тебе возможности, которые ты даже не можешь представить и осознать. И я сохранил твой разум, между прочим. Ты должен быть благодарен мне за это. Ты уникален, Ной. Из миллионов заражённых, которые сейчас бродят по улицам, подчиняясь примитивным инстинктам, ты — единственный, кто сохранил полную осознанность. Единственный, с кем я могу говорить. Единственный, кто может выбирать. Остальные — лишь безмозглые куклы, марионетки, движимые голодом и базовыми рефлексам. Ты — другое дело. Ты — моё лучшее творение. Мой шедевр.

Ной закрыл глаза — или, вернее, попытался закрыть, потому что веки теперь слушались плохо и постоянно норовили остаться в полуоткрытом состоянии, — и попытался осмыслить услышанное. Вирус говорил с ним. Осознанно. Разумно. Используя человеческий язык и человеческие понятия. Это противоречило всему, что он знал о вирусах, о болезнях, о биологии в целом. Но, с другой стороны, всё, что происходило с ним в последние недели, противоречило законам биологии. Ходячие трупы, сохранившие способность двигаться. Обострившееся до нечеловеческих пределов обоняние. Пульсирующие зрачки. И теперь — голос в голове. Вирус не был просто болезнью. Он был чем-то иным. Чем-то гораздо более сложным, более пугающим, более непостижимым.

— Чего ты хочешь от меня? — спросил Ной мысленно. — Зачем ты говоришь со мной? Зачем сохранил мой разум?

Я хочу жить, Ной. Так же, как и ты. Так же, как любое живое существо в этой вселенной. Моя цель — выживание и распространение. Это базовый, фундаментальный закон природы. И ты — мой ключ к успеху. Мой идеальный носитель. Моя точка входа в этот мир.

— Идеальный носитель, — горько усмехнулся про себя Ной. — Ты называешь идеальным носителем гниющего заживо монстра, который не может произнести ни слова и вынужден прятаться в тёмном углу, чтобы его не убили?

*Гниение — это временный, побочный эффект. Переходная стадия, если угодно. Твоё тело перестраивается, адаптируется к новым условиям, к новой форме существования. Оно станет лучше, сильнее, совершеннее. Но для этого ему нужен материал. Нужна энергия. Нужны ресурсы. Именно поэтому ты чувствуешь голод. Это не прихоть и не жестокость — это необхо-

димось, обусловленная законами биологии и эволюции. Ты голоден, потому что твоему телу нужны строительные блоки для завершения трансформации. Живые клетки. Белки. Аминокислоты. Ферменты, которые запускают определённые процессы.*

— Ты говоришь о людях, — холодно, с замирающим сердцем констатировал Ной. — Ты хочешь, чтобы я охотился на людей. Убивал их. Ел их. Заражал их.

Я хочу, чтобы ты выжил, Ной. В этом новом мире, который стремительно меняется прямо у тебя за окном. В мире, где военные стреляют во всё, что движется не так, как надо. В мире, где карантинные зоны расширяются с каждым днём, а оставшиеся люди сбиваются в вооружённые анклавы и открывают огонь без предупреждения. В мире, где у тебя нет друзей, нет союзников, нет никого, кроме меня. Я — единственный, кто на твоей стороне. Единственный, кому не всё равно, будешь ты жить или сдохнешь в этой грязной квартире от истощения.

Ной ничего не ответил. Он просто сидел в своём углу, завернувшись в красную ветровку, и слушал, как за окном воет очередная сирена, как где-то далеко гремят выстрелы, как ветер швыряет в стекло колющий декабрьский снег. Голос в его голове замолчал, но не исчез. Ной чувствовал его присутствие — где-то на границе сознания, как постоянный, едва слышный гул, как чужое дыхание в затылок, как тень, которая никогда не исчезает. Вирус ждал. Он был терпелив. У него было всё время этого мира.

А Ной понял, что его собственное время стремительно истекает. Запасы еды в квартире подходили к концу. Вода из крана текла всё хуже, с перебоями — видимо, городская инфраструктура начинала давать сбои. Рано или поздно ему придётся выйти наружу, в этот новый, враждебный, перевёрнутый с ног на голову мир, где каждый встречный человек будет стремиться его убить, а каждый встречный заражённый будет видеть в нём конкурента. Ему придётся выбирать между голодной смертью в запертой квартире и шансом на выживание снаружи. И когда этот момент настанет, голос в его голове будет ждать его там — с советами, подсказками, наставлениями и своими собственными, тёмными целями.

Он поднял свою серую, покрытую пятнами и язвами руку и посмотрел на неё в тусклом свете умирающего дня. Пальцы дрожали — то ли от слабости, то ли от перенапряжения, то ли от внутренней борьбы. Но он всё ещё мог ими управлять. Он всё ещё мог сжать кулак. Он всё ещё мог выбирать.

— Я справлюсь, — произнёс он мысленно, обращаясь не столько к голосу в голове, сколько к самому себе, к тому человеку, которым он когда-то был и которым отчаянно хотел остаться. — Я справлюсь сам. Без твоей помощи. Без твоих советов. Без твоих тёмных игр.

Конечно, справишься, — отозвался голос с интонацией, похожей на улыбку, которую Ной не мог видеть, но отчётливо чувствовал где-то на границе восприятия. — Я в этом не сомневаюсь, Ной. Именно поэтому я выбрал тебя. Ты справишься. Ты сильный. Ты умный. Ты особенный. И когда ты будешь готов — когда ты примешь свою новую природу и перестанешь цепляться за призраков прошлого, — я научу тебя таким вещам, которые тебе и не снились. А пока — отдыхай. Набирайся сил. Слушай мир. Наблюдай. И жди своего часа. Я терпелив. Я умею ждать.

Ной не ответил. Он плотнее закутался в свою красную ветровку, натянул капюшон до самых глаз и уставился невидящим взглядом в стену перед собой. В голове крутились обрывки

мыслей — о городе, который гибнет за окном, о людях, которые превращаются в монстров, о себе самом, застрявшем где-то посередине между двумя мирами. О красной ветровке, которая осталась единственным напоминанием о том, что он когда-то был человеком.

Голос молчал. Но Ной знал, что он никуда не делся. Он просто затаился и ждал. Как терпеливый хищник в засаде. Как паук в центре своей паутины. Как вирус в клетке-хозяине.

Вой сирен за окном становился всё громче. Город умирал, корчась в агонии. А в тёмной квартире на четвёртом этаже старой девятиэтажки существо в красной ветровке медленно, мучительно училось жить заново. Училось быть не человеком и не зверем, а чем-то третьим — чем-то, для чего в человеческом языке ещё не успели придумать названия. Нулевой пациент готовился к своему выходу в новый мир.

Глава 3. Блондинка в аптеке

Решение выйти наружу созревало долго и мучительно, словно нарыв, который никак не мог прорваться, но с каждым днём причинял всё больше боли, всё больше беспокойства, всё больше лихорадочного, изматывающего напряжения. Три недели — или около того, потому что календарь в его сознании окончательно рассыпался, а солнце за грязным, невымытым окном теперь, казалось, всходило и заходило по какому-то собственному, извращённому, не подчиняющемуся привычной логике расписанию, — Ной провёл в своём добровольном заточении, в тесной щели между стеной и старым продавленным диваном. Он цеплялся за это убежище, за эту бетонную нору на четвёртом этаже, как утопающий цепляется за обломок кораблекрушения посреди бушующего, штормового океана, отказываясь признать, что спасительный берег недостижим. Но теперь ресурсы подошли к концу, и реальность, сколько бы он ни пытался её игнорировать, настойчиво стучалась в дверь его сознания, требуя действий.

Последняя банка просроченных рыбных консервов, которую он обнаружил в дальнем углу кухонного шкафчика за пакетом с окаменевшей гречкой, была опустошена два дня назад — или, может быть, три, потому что чувство времени теперь напоминало разбитое зеркало, в котором осколки прошлого, настоящего и будущего перемешались в хаотичном, бессмысленном порядке. Вода из крана перестала течь вовсе — водопроводная система города, оставшаяся без присмотра и обслуживания, очевидно, окончательно вышла из строя, и теперь из ржавых труб доносилось лишь печальное, заунывное гудение, похожее на предсмертный стон умирающего механизма. Но самым тревожным и самым настойчивым сигналом, который невозможно было игнорировать, был голод. Не тот тупой, ноющий голод, который Ной помнил по своей человеческой жизни — когда пропускаешь обед, а живот начинает напоминать о себе, и можно перекусить бутербродом или батончиком мюсли, чтобы заглушить это чувство до ужина. Нет, это был совершенно иной голод — всепоглощающий, выжигающий изнутри, пожирающий его мысли, его волю, его остатки человечности. Хищный, требовательный, не знающий пощады голод, который теперь, казалось, резонировал в каждой клетке его перестроенного, изменённого вирусом тела, в каждом нервном окончании, в каждом сокращении атрофирующихся мышц.

Тебе нужно выйти, — произнёс знакомый голос в его голове, и в его глубоких, резонирующих интонациях не было ни насмешки, ни упрёка, ни тени злорадства. Только холодная, отстранённая, почти математическая констатация факта. Голос, который Ной теперь называл про себя «Симбионтом» — это слово казалось ему более нейтральным, более клиническим, более безопасным, чем «вирус» или «паразит», — говорил всё чаще, и с каждым разом его аргументы становились всё более весомыми, всё более логичными, всё более трудными для опровержения. *Твои запасы исчерпаны. Вода не поступает. Твоё тело нуждается в белке, в аминокислотах, в живом клеточном материале для продолжения трансформации. Если ты останешься здесь, ты умрёшь от истощения. Медленно, мучительно, бессмысленно. И тогда всё, через что ты прошёл, все эти страдания, вся эта борьба — всё будет напрасно.*

— Я не стану убивать людей, — мысленно ответил Ной, и в его беззвучном голосе прозвучала сталь — та самая упрямая, иррациональная, чисто человеческая сталь, которую Симбионт, при всём своём нечеловеческом интеллекте и способности к анализу, никак не мог понять и принять. — Я не стану охотиться на них, как хищник на дичь. Не стану загонять их в угол. Не стану заражать их тобой. Я лучше умру здесь, в этой квартире, чем позволю тебе

использовать меня как инструмент для распространения этой чумы. Лучше рассыплюсь в прах, чем стану тем, кого ты хочешь из меня сделать.

Никто не говорит об убийстве, Ной, — мягко, почти вкрадчиво отозвался Симбионт, и Ной физически ощутил, как чужая воля внутри него пытается обернуть его гнев в другое русло, направить его энергию в более продуктивное, с точки зрения вируса, направление. *Ты мыслишь слишком узко, слишком примитивно, слишком по-человечески. Ты застрял в рамках устаревшей морали, которая больше не применима к миру за твоим окном. В городе полно мёртвых тел — тех, кто погиб при первых вспышках эпидемии, кого убили военные патрули, кого бросили свои же, кого убили другие заражённые. Свежие трупы, которые ещё не полностью разложились. Их плоть даст тебе необходимые ресурсы. Их ткани дадут тебе белок. Их клетки — строительный материал для твоей трансформации. Этого хватит, чтобы продержаться ещё какое-то время, чтобы набраться сил и найти более... устойчивый источник пропитания. Ты можешь выжить, не причиняя вреда живым. По крайней мере, на первых порах.*

Это было чудовищное предложение. Омерзительное, противоестественное, противоречащее всем законам человеческой морали и этики. Мысль о том, чтобы питаться падалью, как стервятник или шакал, вызывала в его сознании волну такого отвращения, что его желудок — или то, что от него осталось, — сжался в болезненном спазме. Но другая мысль — мысль о том, что он может получить необходимые ресурсы, не нападая на живых, не обрекая их на ту же кошмарную судьбу, что постигла его самого, — засела в его голове, как заноза, и начала медленно, методично подтачивать его сопротивление. Это был компромисс. Грязный, отвратительный, унижительный компромисс. Но компромисс, который позволял ему сохранить хоть какую-то видимость человеческой морали в этом новом, бесчеловечном мире, где старые правила больше не работали, а новые ещё не были написаны.

Кроме того, была ещё одна причина, по которой ему необходимо было выйти наружу. Причина, которую он не обсуждал с Симбионтом, потому что боялся, что тот начнёт использовать её против него. Лекарство. Где-то там, в разрушенном, охваченном хаосом городе, могли сохраниться аптеки, медицинские склады, лаборатории — места, где могли храниться препараты, способные если не обратить его состояние вспять, то хотя бы замедлить процесс разложения, приостановить трансформацию, дать ему шанс найти более радикальное решение. Шанс снова стать человеком. Эта надежда была тонкой, призрачной, почти иллюзорной — как солнечный луч, пробивающийся сквозь плотные грозовые тучи, — но она была единственным, что удерживало его рассудок от окончательного погружения в пучину отчаяния и безумия.

Он начал готовиться к выходу. Методично, тщательно, с той дотошностью, которая осталась в нём от прежней, человеческой жизни — от курьерских будней, где правильная подготовка к смене могла сэкономить драгоценные минуты и спасти рейтинг. Он надел свою красную ветровку, тщательно застегнув молнию до самого подбородка, и накинуд на голову глубокий спасительный капюшон, который скрывал его лицо в густой, непроницаемой тени. Затем поверх ветровки он натянул старый, потрёпанный рюкзак — тот самый, с которым когда-то ходил на пары в университет, и который чудом сохранился в кладовке, заваленный грудой ненужного хлама. В рюкзак он положил всё, что, по его расчётам, могло пригодиться в этом опасном путешествии по умирающему городу: отвёртку с длинным жалом, которая могла послужить импровизированным оружием, моток прочной капроновой верёвки, найденный на антресолях, изоленту, фонарик с почти севшими батарейками, пустую пластиковую бутылку для воды, если ему удастся её где-нибудь раздобыть, и старый, потрёпанный блокнот с огрызком карандаша — на случай, если ему понадобится записать что-то важное или оставить посла-

ние тем, кто, возможно, ещё выжил в этом кошмаре. Тому, кто, возможно, ещё помнил, что такое человеческое милосердие.

Ты забыл самое главное, — произнёс Симбионт в его голове, когда Ной уже стоял у входной двери, собираясь с духом перед тем, как повернуть ручку замка и сделать первый шаг в неизвестность. *Оружие. Настоящее оружие. Отвёртка — это не оружие, это инструмент, детская игрушка. Она не спасёт тебя, если ты столкнёшься с группой агрессивных заражённых или с вооружённым патрулём. Или с живыми людьми, которые, поверь мне, будут стрелять в тебя без предупреждения, едва увидят твоё лицо.*

— У меня нет оружия, — мысленно ответил Ной, и это было правдой. Он никогда не владел огнестрельным оружием, никогда не интересовался им, и в его квартире не было ничего опаснее кухонного ножа, который он решил не брать, опасаясь, что в случае столкновения с людьми нож сделает его ещё более подозрительным и враждебным в их глазах. — И я не уверен, что смогу им воспользоваться. Против людей — точно не смогу. Даже против тех, кто захочет меня убить.

Тогда будь готов бежать. Быстро, бесшумно, не оглядываясь. Или прятаться. Или притворяться мёртвым. Твоё тело способно на многое из того, чего ты ещё не пробовал и даже не можешь представить. Просто доверься мне в критический момент. Я не хочу умирать вместе с тобой в этой дыре. У меня, в отличие от тебя, есть планы на будущее. Большие планы.

Ной глубоко вздохнул — настолько глубоко, насколько позволяли его атрофированные, частично разложившиеся лёгкие, — и повернул ручку замка. Дверь с протяжным, жалобным скрипом, который эхом разнёсся по пустому подъезду, отворилась, и он впервые за три недели переступил порог своей квартиры, выходя в тёмный, холодный, пахнувший плесенью и запустением подъезд.

Подъезд встретил его абсолютной, звенящей тишиной и кромешной тьмой. Электричество в доме отключилось, судя по всему, ещё неделю назад, и теперь единственным источником света служили редкие, запылённые оконца на лестничных площадках, сквозь которые пробивался тусклый, серый, безжизненный свет пасмурного декабрьского дня. Стены, когда-то выкрашенные в бодрый зелёный цвет, теперь были покрыты пятнами плесени, подозрительными бурыми подтёками, которые Ной старался не разглядывать слишком пристально, и хаотичными надписями, оставленными, вероятно, последними выжившими жильцами перед тем, как покинуть это место. «Ушли на восток. В городе карантин. Военные стреляют без предупреждения». «Мама, если ты это читаешь — я жив. Ищи меня в убежище на Строителей, 15». «Бог оставил этот город. Здесь больше никого нет». «Они не умирают. Не верьте тому, что говорят по радио. Они не умирают, они меняются».

Последняя надпись была выведена чем-то тёмным, похожим на засохшую кровь, прямо на уровне глаз, и Ной задержался перед ней на несколько долгих, тяжёлых секунд, перечитывая эти слова снова и снова, пока буквы не начали расплываться перед его изменившимися, нечеловеческими глазами. «Они не умирают. Они меняются». Да, подумал он с горькой, мрачной усмешкой, которая так и не смогла пробиться на его парализованное, неслушающееся лицо. Это он знал не понаслышке. Это он чувствовал каждой клеткой своего тела — тела, которое больше не принадлежало ему одному.

Он начал спускаться по лестнице, и каждое движение давалось ему с огромным трудом, требовало полной концентрации и собранности. Его суставы, которые, казалось, задеревенели за три недели неподвижности, скрипели и щёлкали при каждом шаге, словно несмазанные дверные петли. Мышцы, ослабленные голоданием и отсутствием физической активности, слушались с трудом, с задержкой, с противным дрожанием. Но Ной упрямо двигался вперёд, цепляясь за шаткие, покрытые ржавчиной перила, останавливаясь на каждой лестничной площадке, чтобы перевести дыхание и прислушаться к звукам здания. Несколько раз он застыл в полной неподвижности, прижимаясь спиной к холодной, влажной стене, когда ему казалось, что он слышит шаги или голоса где-то на верхних этажах. Но шаги и голоса оказывались лишь игрой его обострившегося, сверхчувствительного слуха, который теперь улавливал даже самые тихие, самые далёкие звуки: скрип половиц на девятом этаже, шорох осыпающейся штукатурки в вентиляционной шахте, писк крыс в подвале. Живых людей в доме, судя по всему, не осталось — либо они эвакуировались в первые дни паники, прихватив с собой самое ценное, либо погибли, либо стали частью той орды заражённых, что бродила по улицам.

Входная дверь подъезда была распахнута настежь, и холодный, пронизывающий декабрьский ветер, пахнувший гарью, дымом далёких пожаров и чем-то ещё — чем-то сладковатым и тошнотворным, что Ной безошибочно идентифицировал как запах разлагающейся плоти, — беспрепятственно гулял по лестничной клетке. На пороге, прямо перед выходом на улицу, лежало тело. Человеческое тело — или то, что когда-то было человеческим телом. Мужчина в грязном, изорванном пальто лежал на боку, поджав колени к груди в позе эмбриона, и его остекленевшие, широко раскрытые глаза смотрели в пустоту с выражением такого беспредельного, невыразимого ужаса, что Ной на мгновение замер, не в силах отвести взгляд. Рядом с телом валялся противогаз — старый, советского образца, с треснувшим стеклом, — и небольшой рюкзак, из которого высыпались консервные банки, бинты и упаковка антибиотиков. Ещё одна жертва эпидемии. Ещё одна жизнь, оборвавшаяся в страхе и отчаянии. Ной заставил себя переступить через тело, стараясь не смотреть на лицо мертвеца, и вышел на улицу.

Город, который он увидел перед собой, был неузнаваем.

Три недели назад, когда Ной в последний раз крутил педали своего велосипеда по этим улицам, это был живой, пульсирующий, дышащий организм — больной, испуганный, лихорадочный, но всё ещё живой. Теперь же перед ним лежал труп города. Огромный, распростёртый, разлагающийся труп, покинутый своими обитателями и отданный на растерзание новой, чужеродной форме жизни. Улицы были пусты, если не считать брошенных автомобилей, которые стояли как попало — некоторые с распахнутыми дверцами, словно водители покидали их в панике, на бегу, не глуша мотор; некоторые перевёрнутые, обгоревшие, искореженные до неузнаваемости после столкновений и пожаров. Витрины магазинов были разбиты, и осколки стекла хрустели под ногами, словно тонкий, опасный лёд. Кое-где ещё тлели очаги пожаров, поднимая в серое, низкое декабрьское небо столбы чёрного, жирного дыма, который ветер разносил по всему городу, смешивая с запахом гари и разложения. Повсюду — на тротуарах, на проезжей части, на детских площадках, у подъездов жилых домов — лежали тела. Десятки, может быть, сотни тел в тех неестественных, изломанных позах, которые принимают люди, умершие не своей смертью. Некоторые были в гражданской одежде — мужчины, женщины, старики, даже дети, — некоторые в военной форме или в белых халатах медиков, нашедших свою смерть на передовой невидимой войны. Запах разложения висел над городом, как плотное, удушающее одеяло, и даже Ной, чьё обоняние уже частично атрофировалось, а частично привыкло к запаху собственного гниющего тела, чувствовал его с тошнотворной отчётливостью.

Но самым страшным, самым тревожным зрелищем были не мёртвые тела. Самым страшным были те, кто ещё двигался.

Вдалеке, метрах в трёхстах от его подъезда, по проезжей части медленно, неуклюже, шатаясь из стороны в сторону, брела небольшая группа заражённых — пять или шесть фигур, которые двигались с той характерной, дёрганой, лишённой координации походкой, которую Ной так хорошо знал по своему собственному опыту. Они не замечали его, поглощённые каким-то своим внутренним ритмом, и он поспешил отступить обратно в тень подъезда, молясь, чтобы его красная ветровка не привлекла их внимания.

Не бойся их, Ной, — произнёс Симбионт. *Они чувствуют тебя как своего. Ты пахнешь так же, как они. Ты двигаешься так же, как они. Ты — часть их стаи, даже если пока не осознаёшь этого. Если ты не будешь проявлять агрессию первым, они не нападут на тебя. По крайней мере, большинство из них. Но живые люди — другое дело. Они увидят в тебе угрозу. Помни об этом, когда будешь передвигаться по городу. Твой главный враг сейчас — не заражённые, а выжившие.*

Ной мрачно кивнул, хотя внутри у него всё протестовало против этой логики. Заражённые были его врагами. Они были распространителями чумы, поглотившей город. Но в то же время они были его собратьями по несчастью — такими же жертвами, такими же пленниками в собственных телах, такими же марионетками в руках безжалостного кукловода. И мысль о том, что живые люди — те, ради кого он отказывался поддаваться голоду, те, чью жизнь он пытался сохранить ценой собственных страданий, — будут стрелять в него при первой же встрече, была горькой и болезненной, но, увы, реалистичной.

Он начал свой путь через мёртвый город. Шаг за шагом, квартал за кварталом, держась в тени зданий и остовов сгоревших автомобилей, избегая открытых пространств, где его мог заметить военный патруль или отряд вооружённых выживших. Он двигался медленно, но не той дёрганой, хаотичной походкой обычных заражённых, а плавно, бесшумно, крадучись — так, как тренировался в своей квартире все эти долгие, мучительные недели. Симбионт не ошибся: обычные заражённые, которые изредка попадались ему на пути, действительно не проявляли к нему агрессии. Они проходили мимо, не оборачиваясь, словно он был пустым местом, или просто замирали на несколько секунд, поводя носом в его сторону, а затем продолжали свой бесцельный, бесконечный путь. Ной чувствовал исходящий от них запах — тот же сладковатый, тошнотворный запах гниющей плоти, который источало его собственное тело, — и в этом запахе было что-то почти родное, почти успокаивающее. Запах стаи. Запах принадлежности. Запах, который обещал, что он не один.

Целью его первого рейда была крупная сетевая аптека в трёх кварталах от его дома. Он помнил её ещё по своей курьерской работе — не раз и не два он забирал там заказы для клиентов, пакеты с антибиотиками, болеутоляющими, витаминами, средствами от аллергии. Аптека занимала весь первый этаж небольшого торгового центра и, по его расчётам, должна была располагать внушительным складом медикаментов. Лекарств, которые могли бы помочь ему, — если, конечно, в мире вообще существовало лекарство от Волнийского синдрома, в чём он всё больше сомневался с каждым днём, проведённым в заточении.

Путь до аптеки занял почти два часа. Два часа постоянного напряжения, постоянного страха, постоянного ожидания выстрела из-за угла или нападения из тёмного переулка. Он

передвигался перебежками от одного укрытия к другому, подолгу замирая в неподвижности и прислушиваясь к звукам умирающего города. Один раз он услышал далёкую автоматную очередь где-то в районе центра — судя по звуку, работали военные, зачищая очередной квартал. Один раз наткнулся на стаю бродячих собак, которые рвали чьё-то тело прямо посреди тротуара — животные, почуяв его запах, подняли головы и зарычали, но не напали, а предпочли ретироваться, унося с собой куски добычи. И один раз он увидел живого человека — мужчину в камуфляже, который перебегал дорогу с дробовиком в руках и скрылся в подъезде жилого дома прежде, чем Ной успел хоть как-то отреагировать.

К тому времени, когда перед ним вырос тёмный, молчаливый остов торгового центра, он был вымотан до предела — и морально, и физически. Мышцы ног дрожали от напряжения, в висках пульсировала тупая, ноющая боль, а голос Симбионта в голове звучал всё настойчивее, всё требовательнее, напоминая о том, что телу срочно нужны ресурсы, нужна подпитка, нужна энергия. Ной проигнорировал его, как игнорировал все последние недели, и сосредоточился на своей цели.

Стеклянные двери аптеки, как и следовало ожидать, были разбиты. Осколки толстого, закалённого стекла хрустели под его кроссовками, когда он осторожно, пригибаясь, проник внутрь тёмного, холодного помещения. Внутри царил хаос — типичный хаос разграбленного в панике магазина. Стеллажи были опрокинуты, полки опустошены, упаковки с лекарствами рассыпаны по грязному, затоптанному полу, словно конфетти после чудовищного парада. Кто-то, очевидно, побывал здесь до него — возможно, в первые дни паники, когда люди ещё верили, что антибиотики и противовирусные препараты могут спасти их от неизвестной болезни. Большинство самых востребованных препаратов — антибиотики широкого спектра действия, сильные обезболивающие, противовирусные, антисептики, перевязочные материалы — были выметены подчистую. Но Ной, сам того не ожидая, почувствовал странное, незнакомое спокойствие. Разгром означал одно: здесь были люди. Живые люди. Значит, не все погибли. Значит, у него ещё оставался шанс. Шанс на что — он и сам не мог сформулировать, но сам факт того, что жизнь в городе ещё теплилась где-то, давал ему слабую, почти иллюзорную надежду.

Он медленно, методично обходил помещение аптеки, заглядывая в каждый угол, в каждый ящик, в каждую опрокинутую коробку. Его нечеловеческое зрение, приспособившееся к темноте за время заточения, позволяло ему различать детали в полумраке, почти как днём. Он подбирал всё, что могло хоть теоретически пригодиться: остатки противовоспалительных препаратов, вату, бинты, йод, какие-то таблетки, названия которых ничего ему не говорили, но Симбионт одобрительно отметил, что некоторые из них могут оказаться полезными для замедления процессов некроза. Шанс найти волшебную таблетку, способную обратить его трансформацию вспять, становился всё более призрачным с каждым пройденным метром.

А потом он услышал голос.

Живой, человеческий, мелодичный женский голос, который доносился откуда-то из глубины аптеки, из-за двери с табличкой «Подсобное помещение. Вход только для персонала». Голос напевал какую-то простую, незамысловатую мелодию — что-то из старого рока, смутно знакомое, но неузнаваемое в этом искажённом акустикой пространстве. И от этого голоса, от этого простого, такого обыденного, такого человеческого звука у Ноя перехватило дыхание. Он замер на месте, прислушиваясь, боясь поверить своим ушам. Живой человек. В аптеке. Поющий песню. В городе, который превратился в братскую могилу. Это было настолько неве-

роятно, настолько нереально, что он на мгновение усомнился в собственном рассудке — может быть, это галлюцинация, порождённая голодом и стрессом?

Это не галлюцинация, Ной, — подтвердил Симбионт, и в его голосе звучал неподдельный интерес, смешанный с какой-то странной, почти кошачьей настороженностью. *Там, за дверью, живой человек. Женщина. Молодая. Её запах... очень отчётливый. Очень привлекательный. Ты чувствуешь его?*

Ной чувствовал. Его обострённое обоняние улавливало целую симфонию запахов, доносящихся из-за закрытой двери: запах антисептика и спирта, запах сухих трав и каких-то химических препаратов, но прежде всего — тёплый, живой, мускусный запах человеческого тела. Запах, от которого его голод взвыл с утроенной силой, а рот наполнился густой, вязкой слюной. Ной сглотнул и сделал шаг вперёд, к двери, ведущей в подсобное помещение.

Он открыл дверь медленно, бесшумно, стараясь не спугнуть незнакомку раньше времени. Дверь подалась без скрипа, и его взору предстало небольшое, тускло освещённое керосиновой лампой помещение, заставленное металлическими стеллажами с коробками лекарств. За старым деревянным столом, заваленным бумагами, пустыми упаковками и какими-то инструментами, сидела девушка.

Ей было около двадцати пяти — его ровесница, с которой они никогда не встретились бы в прежней, нормальной жизни, но которая теперь казалась ему посланницей из другого, навсегда утерянного мира. У неё были длинные, светлые, почти платиновые волосы, собранные в небрежный, но практичный хвост, открывающий высокий лоб и тонкую, изящную шею. Одета она была в белый медицинский халат поверх тёплого свитера, что сразу выдавало в ней человека, имеющего отношение к медицине или фармацевтике. На носу сидели очки в тонкой металлической оправе, а на шее, поверх халата, висел фонендоскоп — старый, выдавший виды, но явно рабочий и ухоженный. В руках она держала какой-то пузырёк и внимательно изучала этикетку, подсвечивая себе всё той же керосиновой лампой. Она напевала ту самую мелодию, которую Ной слышал из-за двери — тихо, спокойно, почти умиротворённо, словно вокруг неё не было мёртвого города, наполненного чудовищами и смертью, а была обычная рабочая смена в обычной аптеке. Словно мир не рухнул. Словно кошмар ещё не начался.

И в этот самый момент, когда Ной стоял в дверном проёме, заворожённый этим невероятным, невозможным зрелищем — живым человеком, который вёл себя так, будто апокалипсис не произошёл, — тишину разорвал дикий, леденящий кровь вопль. Вопль, полный такой боли и ужаса, что даже вирус внутри Ноя вздрогнул.

Девушка вскинула голову, и её глаза — большие, серо-голубые, — расширились от ужаса, когда она увидела тёмную фигуру в дверном проёме. Она открыла рот, чтобы закричать, но не успела — потому что в ту же секунду задняя дверь подсобки, ведущая на склад, с грохотом распахнулась, и внутрь ворвались они. Три заражённых — два крупных мужских силуэта и один более мелкий, женский, — двигающихся с той хаотичной, но пугающе быстрой скоростью, на которую были способны только те, кто находился на третьей, самой агрессивной стадии Волнийского синдрома. Их глаза горели в полумраке подсобки зловещим, нечеловеческим багровым светом. Их рты были раскрыты в беззвучном, но от этого не менее жутком крике, обнажая почерневшие дёсны и изменившиеся, заострившиеся зубы, больше похожие на зубы хищника. Их руки, покрытые язвами и струпами, с почерневшими, удлинившимися ногтями,

напоминавшими когти, тянулись к девушке, которая застыла за своим столом, парализованная страхом.

Ной действовал раньше, чем успел подумать. Раньше, чем Симбионт успел что-то сказать или посоветовать. Раньше, чем его собственный страх парализовал его волю. Что-то древнее, глубоко запрятанное — то ли остатки человеческого инстинкта защищать слабого, то ли курьерская привычка молниеносно реагировать на опасность, то ли что-то, что вирус не сумел в нём уничтожить, — толкнуло его вперёд, в гущу событий.

Он рванулся вперёд, преодолевая разделявшие их метры с той скоростью, на которую, как ему казалось, его разлагающееся тело было не способно. Движения его были далеки от идеала — всё те же рваные, угловатые, лишённые кошачьей грации, — но в них было нечто новое: решимость, отчаяние и ярость. Ярость не на заражённых, которые были такими же жертвами, как и он сам, а на саму ситуацию, на этот проклятый вирус, который превращал людей в чудовищ и заставлял их охотиться друг на друга.

Он врезался в ближайшего к девушке заражённого — крупного мужчину в остатках рабочего комбинезона — всем своим весом, отбрасывая его в сторону, на металлический стеллаж, который с грохотом рухнул, рассыпая коробки с медикаментами по всему полу. Второй заражённый — тот, что был поменьше, — среагировал мгновенно и кинулся на Ноя, целясь своими когтистыми пальцами в его лицо. Ной принял удар на плечо, почувствовав, как чужие ногти впиваются в ткань его красной ветровки и раздирают синтетику с отвратительным треском. Боли не было — его нервные окончания, по-видимому, практически полностью атрофировались за время трансформации, — но он почувствовал давление и ярость, которая придала ему сил. Он отмахнулся от нападавшего, неуклюже, но сильно ударив его предплечьем в грудь, и тот отлетел к стене.

Третий заражённый — женщина в разорванном больничном халате — попытался обойти Ноя с фланга, чтобы добраться до своей первоначальной жертвы, которая всё ещё стояла, вжавшись в угол за своим столом и прижимая к груди какой-то металлический лоток как единственную защиту. Но Ной заметил этот манёвр и, повинувшись скорее инстинкту, чем разуму, метнулся наперерез, заслоняя девушку своим телом. Заражённая в больничном халате вцепилась ему в спину, пытаясь прокусить толстую ткань ветровки, но синтетика выдержала первый натиск.

— Беги! — попытался крикнуть Ной, но из его горла, как всегда, вырвался лишь низкий, утробный, нечленораздельный хрип, который ничем не напоминал человеческую речь. Однако девушка, к его изумлению, поняла. То ли по интонации, то ли по жесту — его рука отчаянно указывала в сторону запасного выхода, — то ли по тому факту, что одно чудовище вдруг начало защищать её от других чудовищ. Она метнулась к двери, но в последний момент обернулась, и их взгляды встретились. Серо-голубые глаза, полные страха и неверия, встретились с его тёмными, ввалившимися, горящими нечеловеческим огнём глазами.

В этот момент заражённый в рабочем комбинезоне, которого Ной сбил первым, снова поднялся на ноги и с утробным рычанием бросился на своего обидчика. Ной встретил его, выставив вперёд плечо, и они сцепились в неуклюжей, хаотичной борьбе, опрокидывая остатки стеллажей и мебели. Заражённый пытался добраться до его горла, но Ной, используя остатки человеческой ловкости и координации — те жалкие крохи, которые у него ещё сохранились, — уворачивался, блокировал удары и отвечал своими, такими же неуклюжими, но сильными ударами. В какой-то момент его пальцы сомкнулись на горле противника, и он почувствовал

под ними хрупкие, разлагающиеся позвонки. Одно резкое, отчаянное движение — и раздался отвратительный, влажный хруст. Заражённый обмяк и рухнул на пол, наконец обретя покой.

Оставшиеся двое — женщина в больничном халате и тот, что поменьше, — замерли на мгновение, словно оценивая изменившийся баланс сил. Они переглянулись, издали какой-то странный, гортанный звук, который Ной неожиданно понял — это был сигнал к отступлению на том самом щёлкающем языке, который он слышал от самого себя в ночь трансформации, — и бросились обратно через складскую дверь, в темноту, из которой появились. Несколько секунд спустя их шаги затихли, и в аптеке воцарилась звенящая, оглушительная тишина.

Ной стоял посреди разгромленной подсобки, тяжело дыша — насколько это было возможно при его состоянии, — и чувствовал, как его тело сотрясает крупная, неконтролируемая дрожь. Он только что убил — или окончательно упокоил, тут трудно было подобрать слово, — одно из существ, которые были его собратьями по несчастью. И он сделал это, чтобы защитить человека. Живого человека. Незнакомую девушку, которая теперь стояла в дверях запасного выхода и смотрела на него с выражением, в котором смешались ужас, недоверие, благодарность и что-то ещё — что-то, похожее на проблеск научного любопытства.

— Ты... — прошептала она дрожащим, но мелодичным голосом, который разорвал тишину, как удар колокола. — Ты другой. Ты не такой, как они. Ты спас меня. Почему? Кто ты? Что ты такое?

Ной медленно, очень медленно, чтобы не напугать её резким движением, повернулся к ней лицом. Капюшон его красной ветровки сбился во время драки, обнажив его изуродованное, серое, покрытое шрамами и язвами лицо с ввалившимися, горящими тусклым светом глазами. Девушка вздрогнула, но не отшатнулась, не закричала, не бросилась бежать. Она стояла на месте, вцепившись в косяк двери, и смотрела на него с каким-то отчаянным, бесстрашным вниманием.

Он попытался ответить. Попытался выдавить из своего горла хоть одно человеческое слово, но, как обычно, не смог. Вместо слов из его горла вырвался лишь тот самый низкий, утробный, гортанный хрип, который звучал как пародия на человеческую речь.

Скажи ей, — произнёс Симбионт в его голове, и в его голосе звучало странное, почти отеческое удовлетворение. *Скажи ей то, что ты сказал мне. Она не убежала. Она не выстрелила в тебя. Она — та, кто может понять. Та, кто может помочь. Может быть, та, ради кого стоило выжить.*

Ной медленно, с трудом поднял свою дрожащую, покрытую шрамами руку и указал сначала на себя, в грудь, туда, где под красной ветровкой билось его изменившееся сердце. Затем он показал на девушку, на её белый халат, на фонендоскоп, на её руки, сжимающие дверной косяк. А затем он прижал руку к сердцу и поклонился — неуклюже, дёргано, как сломанный механизм, но достаточно выразительно, чтобы быть понятым.

Девушка несколько долгих секунд смотрела на него, и в её серо-голубых глазах происходила сложная, напряжённая работа мысли. Затем она сделала то, чего Ной никак не ожидал. Она отпустила косяк, сделала шаг вперёд, обратно в подсобку, и сказала твёрдым, хотя и слегка дрожащим голосом:

— Меня зовут Айви. Я фармацевт. И я, кажется, знаю, что с тобой случилось. Ты — тот самый нулевой пациент, верно? Тот, у которого вирус пошёл по другому пути? О тебе говорили в новостях перед тем, как всё рухнуло. Ты — Ной.

Услышав своё имя из уст живого человека — впервые за три недели, впервые за целую вечность, — Ной почувствовал, как его мёртвое, гниющее тело сотрясает что-то похожее на рыдание. Он не мог плакать — его слёзные железы давно перестали функционировать. Но внутри, в той части его существа, которая всё ещё оставалась человеческой, что-то надломилось и прорвалось. Он кивнул — медленно, неуклюже, но достаточно ясно, чтобы быть понятым. Да, это был он. Да, он был Ноем. Нулевым пациентом. Ходячим кошмаром, который только что спас жизнь фармацевту по имени Айви.

И в этот самый момент, стоя посреди разгромленной аптеки, в окружении рассыпанных лекарств и мёртвого тела заражённого, глядя в глаза девушки, которая не испугалась его, — Ной впервые за долгое время почувствовал нечто, очень похожее на надежду.

Глава 4. Немой спаситель

Адреналин, который на короткое, ослепительное мгновение боя вернул его телу почти человеческую скорость и силу, схлынул так же внезапно, как и появился, оставив после себя лишь звенящую, изматывающую пустоту, дрожь в конечностях и тупую, ноющую боль где-то глубоко в мышцах, которые, казалось, были не готовы к таким резким, таким требовательным нагрузкам после нескольких недель почти полной неподвижности в тёмной щели за диваном. Ной стоял посреди разгромленной, перевёрнутой вверх дном подсобки, среди рассыпанных по грязному полу упаковок с лекарствами, осколков стекла и мёртвого тела заражённого в рабочем комбинезоне, и чувствовал, как его собственное тело, его непослушная, чужеродная, гниющая заживо оболочка начинает предательски дрожать, словно от холода, хотя он давно уже не ощущал ни холода, ни тепла в привычном, человеческом смысле. Реакция, отголоски которой ещё звучали где-то на периферии его сознания, отступала, уступая место реальности — суровой, мрачной, пугающей реальности, в которой он только что убил одно из существ, бывших его собратьями по несчастью, и спас жизнь совершенно незнакомому человеку.

Впечатляюще, Ной. Весьма впечатляюще. Я, признаться, не ожидал от тебя такой прыти. Три недели ты сидел в своей норе, как затворник, отказываясь пошевелить пальцем, а тут вдруг — такая прыть, такая ярость, — произнёс Симбионт в его голове, и в его глубоком, многослойном голосе звучало нечто похожее на удовлетворение, смешанное с лёгким, почти неуловимым удивлением. *Ты сохранил остатки физической координации, о которых я даже не подозревал. Твоя ловкость, твоя реакция, твоя способность предугадывать движения противника — всё это почти на человеческом уровне. Даже лучше, чем у некоторых людей. Это очень, очень полезное открытие, мой друг. Нам нужно будет обязательно развить эти навыки в будущем, когда появится время и возможность для тренировок.*

Но Ной не слушал его. Всё его внимание, всё его существо было приковано к девушке, которая стояла в нескольких метрах от него, у двери запасного выхода, и смотрела на него своими невероятными, серо-голубыми глазами, в которых всё ещё плескался страх, смешанный с чем-то иным — с чем-то, что Ной не мог распознать, потому что слишком давно не видел направленных на него человеческих взглядов, не искажённых ужасом или отвращением. Её звали Айви. Она была фармацевтом. Она знала о нём. Слышала о нулевом пациенте в новостях перед тем, как всё рухнуло и мир погрузился в хаос. И она не убежала. Не закричала. Не попыталась ударить его или выстрелить в него из какого-нибудь оружия. Это было настолько невероятно, настолько противоестественно, что Ной на мгновение усомнился в реальности происходящего.

А потом Айви покачнулась, и реальность обрушилась на него с новой, утроенной силой.

Её лицо, которое ещё секунду назад было бледным, но живым, с горящими от пережитого страха глазами, внезапно стало белым, как бумага, как первый снег, как сама смерть. Её губы, до этого решительно сжатые, посинели и задрожали. Глаза закатились, обнажая белки с полопавшимися от напряжения капиллярами. Колени подогнулись, и она начала заваливаться набок — медленно, как подкошенное дерево, как башня, теряющая опору, — цепляясь ослабевшими пальцами за дверной косяк, но не в силах удержать собственное тело. И только в этот момент, когда она начала падать, Ной увидел то, чего не заметил в пылу схватки — её левый рукав белого медицинского халата был разорван и насквозь пропитан кровью. Тёмной, почти

чёрной в тусклом свете керосиновой лампы, венозной кровью, которая продолжала сочиться из глубокой, рваной раны на предплечье, оставленной когтями одного из нападавших заражённых.

Один из них всё-таки добрался до неё. Успел зацепить. Прежде чем Ной вмешался, прежде чем он отбросил нападавшего и заслонил девушку своим телом, кто-то из тварей успел полоснуть её по руке своими длинными, острыми, похожими на звериные когти ногтями. И теперь рана, глубокая и рваная, обильно кровоточила, заливая пол подсобки и пропитывая ткань её халата.

Ной рванулся вперёд, забыв о собственной слабости, забыв о дрожи в ногах и о голосе Симбионта, который что-то настойчиво твердил в его голове. Он подхватил падающую Айви в последний момент, не дав ей удариться головой об угол металлического стеллажа или о бетонный пол, усыпанный осколками стекла. Его руки, всё ещё непослушные и дёргающиеся, сомкнулись вокруг её тела, и он вдруг с поразительной, щемящей ясностью осознал, насколько она лёгкая, насколько хрупкая, насколько уязвимая. Сквозь ткань её халата и свитера он чувствовал тепло её тела — живое, человеческое тепло, которое резко контрастировало с холодом его собственной, лишённой нормального кровообращения плоти. Он чувствовал биение её сердца — слабое, неровное, испуганное, но всё ещё бьющееся, всё ещё борющееся за жизнь. И этот контраст между её живым теплом и его мёртвым холодом был настолько разительным, настолько болезненным, что на мгновение его захлестнула волна отчаяния — осознания той пропасти, которая теперь навсегда пролегла между ним и миром живых людей.

Она теряет кровь, Ной. Много крови. Слишком много для человека её комплекции, — произнёс Симбионт, и его голос звучал на удивление трезво, деловито, почти профессионально, без обычных насмешливых или манипулятивных интонаций. *Если ты не остановишь кровотечение в ближайшие несколько минут, она умрёт прямо здесь, на этом грязном полу, среди рассыпанных лекарств и мёртвых тел. И тогда всё, что ты сделал, вся эта героическая схватка, весь этот риск — всё будет напрасно. Ты спас её от заражённых только для того, чтобы она умерла от потери крови у тебя на руках. Согласись, это было бы чертовски глупо и неэффективно.*

Ной действовал. Не раздумывая, не анализируя, не советуясь с Симбионтом. Его руки, которые ещё минуту назад с трудом удерживали равновесие и совершали неуклюжие, рваные движения, вдруг обрели странную, почти пугающую уверенность. Мелкая моторика, та самая тонкая координация движений пальцев, которая, по всем законам биологии, должна была исчезнуть вместе с отмиранием нервных окончаний и деградацией мышечных тканей, вдруг вернулась к нему — не полностью, не в прежнем, человеческом объёме, но достаточно для того, чтобы выполнить необходимые манипуляции. Словно сама ситуация, сам критический момент пробудили в его теле какие-то скрытые, глубоко запрятанные резервы, которые не смог уничтожить даже вирус.

Он осторожно, почти нежно, опустил бессознательную Айви на пол, предварительно расчистив место от осколков стекла и острых обломков пластмассы, и принялся осматривать её рану с той дотошностью и вниманием к деталям, которые когда-то, в прошлой жизни, помогали ему перепаивать микросхемы в часах и собирать сложные электронные устройства. Рана оказалась хуже, чем он предполагал в первые мгновения. Четыре глубокие, рваные борозды тянулись от запястья почти до локтя, рассекая кожу, мышцы и, возможно, задевая какие-то мелкие кровеносные сосуды. Когти заражённого, грязные и, без сомнения, напичканные все-

возможными бактериями и вирусами, оставили после себя не просто порезы — они оставили инфицированные, рваные раны, которые при отсутствии должной обработки неминуемо приведут к заражению крови, сепсису и мучительной смерти. Даже если ей удастся пережить кровопотерю, инфекция могла убить её в течение нескольких дней.

Но Ной знал, что делать. Знал — и это знание пришло к нему откуда-то из глубин подсознания, из тех слоёв памяти, которые, как он полагал, были давно утеряны или погребены под тяжестью трансформации. То ли сказывались остатки его недоученного медицинского образования, то ли обрывки знаний, почерпнутых из бесчисленных статей и видеоинструкций, которые он просматривал в интернете, то ли что-то ещё — что-то, что шло не от него, а от его симбионта, который, похоже, был кровно заинтересован в выживании этой конкретной девушки.

Он снял с плеч свой старый, потрёпанный рюкзак и высыпал его содержимое прямо на пол. Бинты, которые он машинально подобрал в разгромленной аптеке, оказались стерильными и всё ещё в заводской упаковке — редкая удача в этом разорённом, разграбленном городе. Антисептик, найденный тут же, в одном из опрокинутых шкафчиков, был почти полным, с нетронутой защитной плёнкой под крышкой. Вата, марлевые салфетки, эластичный бинт, небольшой пузырёк с перекисью водорода — весь этот импровизированный медицинский набор, собранный им в спешке и почти наугад, теперь оказался буквально спасительным. Кто-то свыше, похоже, хранил эту девушку. Или, возможно, хранил его, Ноя, и давал ему шанс сделать что-то правильное в этом мире, где всё правильное было давно уничтожено.

Он приступил к обработке раны с методичностью, которая удивила его самого. Его пальцы, серые и холодные, с почерневшими ногтями, которые должны были бы дрожать и срываться, двигались на удивление точно и аккуратно, когда он разрезал пропитанный кровью рукав халата и свитера, обнажая рану, очищал края раны от грязи и фрагментов ткани, промывал глубокие порезы перекисью водорода, которая шипела и пенилась, соприкасаясь с повреждёнными тканями. Айви, даже находясь без сознания, слабо застонала от боли, и этот звук резанул его по сердцу сильнее, чем любой физический удар, который он когда-либо получал. Затем он наложил на рану толстый слой марлевых салфеток, пропитанных антисептиком, и принялся бинтовать — туго, но не слишком, чтобы не нарушить кровообращение в и без того пострадавшей руке, слой за слоем, с той тщательностью, которой позавидовала бы любая профессиональная медсестра. Через несколько минут напряжённой, сосредоточенной работы кровотечение было остановлено, рана обработана и надёжно перевязана, а пульс Айви, который он то и дело проверял, прижимая свои холодные пальцы к тёплой коже её шеи, постепенно начал выравниваться, становясь более ровным и стабильным.

Браво, Ной. Просто браво. Ты, оказывается, не только боец, но и прирождённый медик, — произнёс Симбионт с оттенком чего-то, очень похожего на искреннее уважение в голосе. *Я впечатлён. Твоя мелкая моторика сохранилась на удивительно высоком уровне. Это очень полезная черта, которую нам нужно будет использовать в будущем. А теперь нам нужно уходить отсюда, и как можно быстрее. Запах свежей крови разнесётся по округе в ближайшие минуты, и сюда сбегутся все заражённые в радиусе нескольких кварталов. Ты же не хочешь, чтобы твоя новая подопечная стала чьим-то обедом, после того как ты потратил столько усилий на её спасение?*

Ной молча кивнул. Спорить с этой логикой было бессмысленно. Он поднял бессознательную Айви на руки — бережно, осторожно, словно она была сделана из тончайшего фарфора, — и направился к выходу из аптеки, в серые, холодные сумерки умирающего города.

Он нёс её через мёртвый город, прижимая к груди, как самую драгоценную ношу, которую когда-либо держал в своих руках. Её голова покоилась на его плече, светлые волосы, выбившиеся из небрежного хвоста, щекотали его шею даже сквозь толстую синтетическую ткань капюшона, а её дыхание — слабое, неровное, но такое живое — касалось его щеки, и это ощущение было самым человеческим, самым тёплым, самым настоящим из всего, что он испытывал за последние недели своего кошмарного существования. Он двигался через пустынные, заваленные обломками и трупами улицы, держась в тени разрушенных зданий и остовов сгоревших автомобилей, используя каждое укрытие, каждую арку, каждый тёмный переулок. Обычные заражённые, которые изредка попадались ему на пути, действительно не проявляли к нему агрессии — их, похоже, сбивал с толку двойственный запах, исходящий от Ноя: запах разложения, такой же, как у них, и при этом — запах живой человеческой крови, доносящийся от его раненой ноши. Они замирали на месте, поводили носами, издавали какие-то нечленораздельные, гортанные звуки, но не нападали, а просто провожали его долгими, пустыми, лишёнными всякого проблеска разума взглядами. Словно стая признала в нём своего, но с какой-то аномалией, с каким-то отклонением от нормы, которое требовало изучения.

Они чувствуют, что ты другой, Ной, — прокомментировал Симбионт, пока Ной пробирався через заваленный обломками перекрёсток, мимо перевёрнутого и сгоревшего автобуса, который всё ещё слабо дымился в лучах заходящего солнца. *Они чуют в тебе носителя моего оригинального, неразбавленного штамма, а не того ослабленного, деградировавшего варианта, который распространяется через укусы и царапины. Ты для них — что-то вроде альфа-самца, вожака стаи, хотя они и не осознают этого в полной мере. Их инстинкты говорят им, что тебя лучше не трогать. Но не рассчитывай, что это будет работать вечно. По мере того как вирус в их телах мутирует, а их остаточные инстинкты разрушаются, эта защита может ослабнуть, а затем и вовсе исчезнуть.*

— Куда мне идти? — мысленно спросил Ной, впервые за долгое время действительно нуждаясь в совете своего невольного симбионта. — Я не могу вернуться в свою квартиру. Там слишком опасно. Слишком близко к центру. И слишком много заражённых вокруг.

Я знаю одно место. Я видел его в твоих воспоминаниях, когда мы только соединились. Ты проезжал мимо него сотни раз во время своих курьерских смен, хотя никогда не заходил внутрь. Старая художественная студия в промзоне, за рекой, на окраине города. Там высокие окна и прочные металлические двери. И, что самое главное, там никого нет — по крайней мере, не было, когда я последний раз... сканировал окрестности через твои органы чувств. Отведи её туда. Это хорошее, защищённое место для того, чтобы переждать ночь и восстановить силы.

Ной снова кивнул. Он помнил это здание — старое, довоенной постройки, с большими арочными окнами, выходящими на север, и ржавой вывеской, на которой ещё угадывались выцветшие буквы: «Городская художественная студия № 5». Когда-то, в прошлой жизни, проезжая мимо на своём велосипеде, он всегда думал о том, что было бы интересно зайти внутрь, посмотреть на работы местных художников, может быть, даже попробовать себя в живописи. Теперь это здание должно было стать его убежищем. Его и этой девушки, которую он спас, сам не понимая до конца зачем.

Путь до студии занял около часа. Час постоянного напряжения, постоянного страха, постоянного ожидания опасности из каждого тёмного угла. К тому времени, когда перед ним выросло массивное, приземистое здание с заколоченными окнами и ржавой вывеской, Ной был

практически на пределе своих сил — как физических, так и моральных. Но он заставил себя идти вперёд, преодолевая слабость и дрожь в конечностях, потому что от этого зависела не только его жизнь, но и жизнь его беспомощной ноши.

Металлическая дверь чёрного хода, к счастью, оказалась не заперта — кто-то, возможно, такие же беглецы, как и он, побывал здесь до него, но не задержался надолго. Внутри было темно, холодно и пыльно, но сухо и, что самое главное, безопасно. Просторное помещение, когда-то служившее основным залом студии, было заставлено старыми мольбертами, запылёнными холстами на подрамниках, ящиками с красками и прочим художественным инвентарём, который теперь, в свете разгорающегося апокалипсиса, казался артефактами из другой, навсегда ушедшей эпохи. Огромные окна, занимавшие почти всю северную стену, были заключены изнутри толстыми листами фанеры, но сквозь щели между ними пробивался тусклый, серый свет умирающего дня. В углу стояла старая, продавленная кушетка, накрытая пыльным, выцветшим пледом, — идеальное место для того, чтобы устроить раненую девушку.

Ной осторожно, стараясь не потревожить её раненую руку, уложил Айви на кушетку, подложив ей под голову свёрнутое одеяло, найденное тут же, в одном из ящиков. Он проверил её пульс — слабый, но ровный, — и повязку, которая, к счастью, всё ещё держалась крепко и не пропиталась кровью насквозь. Затем он сделал то, что должен был сделать с самого начала: он спрятался.

Потому что, когда она очнётся — а он верил, надеялся, молился всем богам, в которых никогда не верил, что она очнётся, — он не хотел пугать её своим видом. Она видела его лицо там, в аптеке, в разгар схватки, но тогда всё происходило слишком быстро, слишком хаотично, и она была слишком напугана, чтобы рассмотреть детали. Теперь, когда она придёт в себя в тишине и полумраке, в незнакомом месте, вид его изуродованного, серого, покрытого язвами лица может стать для неё слишком сильным потрясением. Она может закричать. Может попытаться убежать, несмотря на рану. Может решить, что он такое же чудовище, как и те, что напали на неё, и что он спас её лишь для того, чтобы сделать что-то ещё более ужасное.

Он не хотел, чтобы она боялась его. Не после того, как она назвала его по имени. Не после того, как она посмотрела на него без отвращения.

Он нашёл себе место в самом тёмном, самом дальнем углу студии, за старым, заляпаным краской мольбертом и стопкой пыльных холстов, откуда открывался хороший обзор на кушетку. Там он и устроился, завернувшись в свою красную ветровку, натянув капюшон до самых глаз и замерев в той самой абсолютной, нечеловеческой неподвижности, которую он тренировал в своей квартире все эти долгие, мучительные недели. Он сидел, не шевелясь, не издавая ни звука, и смотрел на спящую девушку, словно страж, словно хранитель, словно призрак, привязанный к этому месту невидимыми нитями долга и надежды.

Она пришла в себя через несколько часов, когда за окнами уже окончательно стемнело, и студию окутал густой, бархатный мрак, нарушаемый лишь тусклым светом луны, пробивающимся сквозь щели в фанерных щитах. Ной услышал, как изменилось её дыхание — стало более глубоким, более осознанным, более человеческим. Услышал, как она слабо застонала, приходя в сознание и, вероятно, ощущая боль в перевязанной руке. Услышал, как зашуршала ткань пледа, когда она попыталась приподняться на кушетке.

— Где я? — прошептала она хриплым, слабым голосом, который эхом разнёсся по пустому, тёмному помещению студии. — Кто здесь? Кто меня принёс?

Ной не ответил. Не мог ответить. Его голосовые связки, перестроенные вирусом, были способны лишь на низкий, утробный, гортанный хрип, который только напугал бы её ещё больше. Поэтому он просто сидел в своём углу, абсолютно неподвижный, и смотрел, как она медленно, преодолевая слабость и боль, садится на кушетке, оглядываясь по сторонам с выражением растерянности и тревоги на бледном лице.

Её взгляд скользил по тёмному помещению, выхватывая из мрака очертания мольбертов, холстов, ящиков с красками. И в какой-то момент этот взгляд остановился на тёмном углу, где затаился Ной. Она не могла видеть его лица, скрытого в густой тени капюшона. Она не могла видеть его глаз, горящих тусклым, нечеловеческим светом в темноте — он предусмотрительно прикрыл их, оставив лишь узкие щёлочки, чтобы продолжать наблюдать. Всё, что она могла видеть, — это тёмный, неподвижный силуэт в углу, фигуру в капюшоне, которая сидела совершенно неподвижно и не издавала ни звука. И красный цвет его ветровки, который даже в этой крошечной тьме, казалось, слабо светился собственным, внутренним светом.

— Это ты, — прошептала Айви, и в её голосе не было страха. Только узнавание, смешанное с облегчением и чем-то ещё — чем-то, похожим на благодарность. — Ты спас меня. В аптеке. От тех тварей. Я помню. Ты в красной куртке. Ты перевязал мою руку.

Ной медленно, очень медленно кивнул. Этого движения было достаточно, чтобы она его заметила даже в темноте.

— Ты не можешь говорить? — спросила она после долгой паузы, и в её голосе прозвучала такая мягкость, такое понимание, что у Ноя что-то болезненно сжалось в груди. — Те заражённые... они издают звуки. Рычат, стонут, кричат. А ты молчишь. Ты всегда молчишь?

Он снова кивнул — так же медленно, так же осторожно, стараясь не напугать её.

— Я поняла, — прошептала Айви, и на её бледных, искусанных губах промелькнула слабая, усталая, но удивительно тёплая улыбка, которая осветила её лицо в темноте, как луч света. — Ты не такой, как они. Ты другой. Я не знаю, почему и как это возможно, но ты другой. Ты сохранил разум. Ты сохранил способность выбирать. И ты выбрал спасти меня. Спасибо тебе, Немой спаситель.

Немой спаситель. Это имя, данное ему этой хрупкой, раненой девушкой, прозвучало в его голове как музыка. Как благословение. Как обещание того, что он ещё не окончательно потерял для мира живых.

Он остался сидеть в своём тёмном углу, неподвижный, как статуя, как тень, как призрак в красной ветровке, и смотрел, как Айви, обессиленная, снова погружается в спасительный сон. Завтра будет новый день. Завтра им нужно будет найти еду, воду, медикаменты. Завтра им нужно будет решить, что делать дальше в этом разрушенном, умирающем мире. Но сегодня, в эту тёмную, холодную ночь, они были в безопасности. Они были вместе. Живой человек и тот, кто когда-то был человеком. Фармацевт и нулевой пациент. Айви и Немой спаситель в красной ветровке.

И где-то глубоко внутри, в той части его сознания, которую ещё не полностью поглотил вирус, Ной почувствовал нечто, что он уже и не надеялся когда-либо испытать снова. Нечто тёплое, светлое, почти забытое. Надежду.

Глава 5. Искра

Утро — или то, что субъективно ощущалось как утро, потому что в заколоченном фанерой помещении художественной студии невозможно было определить время суток с какой-либо точностью, — началось для Ноя с привычного, уже ставшего ритуальным осознания собственного существования. Он не спал в человеческом смысле этого слова, не проваливался в блаженное забытьё, наполненное сновидениями и отдыхом, а лишь впадал в то странное, пограничное состояние оцепенения, которое заменяло ему теперь сон — состояние, в котором его тело оставалось абсолютно неподвижным, как у трупа, но сознание продолжало бодрствовать, скользя по поверхности реальности, словно водомерка по тёмной воде. Он слышал каждый звук: как скрипели старые деревянные балки под порывами декабрьского ветра, как где-то вдалеке, на окраине города, грохотали автоматные очереди — военные, очевидно, продолжали свою безнадёжную зачистку, — как мыши или крысы шуршали в кучах мусора за стенами студии. Он чувствовал каждый запах: холодную, сырую пыль, осевшую на мольбертах и холстах; ржавчину, разъедающую металлические конструкции; слабый, едва уловимый аромат старой масляной краски и растворителя, который, казалось, навечно впитался в стены этого здания; и, конечно, живой, тёплый, мускусный запах спящей на кушетке Айви, который одновременно и мучил его неутолимимым голодом, и дарил странное, почти забытое чувство покоя и умиротворения.

Он провёл всю ночь в своём тёмном углу за старым мольбертом, не шевелясь, не издавая ни звука, словно изваяние, словно предмет мебели, словно часть интерьера этой заброшенной студии. Он наблюдал за тем, как Айви спала — беспокойно, тревожно, вздрагивая во сне и что-то неразборчиво бормоча, но всё же спала, восстанавливая силы, которые отняли у неё потеря крови и пережитый ужас. Несколько раз за ночь он бесшумно, как тень, подходил к кушетке, чтобы проверить её пульс и повязку, и каждый раз, склоняясь над её спящим лицом, он чувствовал этот пронзительный, болезненный контраст между её живым, тёплым, розовым лицом и его собственной серой, холодной, мёртвой плотью. Он чувствовал себя чудовищем из страшных сказок, которое крадёт к спящей принцессе, и от этого чувства хотелось выть — выть по-волчьи, тоскливо и безнадёжно, — но он не мог даже этого. Его голосовые связки были способны лишь на низкий, гортанный хрип, который в тишине пустой студии прозвучал бы как рычание хищника и непременно разбудил бы её.

Когда первые лучи тусклого, серого декабрьского солнца начали пробиваться сквозь щели в фанерных щитах, которыми были заколочены огромные арочные окна студии, Айви наконец пошевелилась и открыла глаза. Ной, который в этот момент как раз собирался в очередной раз проверить её повязку, мгновенно и бесшумно отступил обратно в свой тёмный угол, сливаясь с тенями, словно дикий зверь, застигнутый врасплох. Он видел, как она медленно села на кушетке, морщась от боли в раненой руке, как огляделась по сторонам, пытаясь сориентироваться в незнакомом пространстве, как её взгляд снова остановился на тёмном углу, где он прятался.

— Ты всё ещё здесь, — произнесла она, и в её голосе прозвучало не разочарование и не страх, а скорее удовлетворение, смешанное с ноткой облегчения. — Ты не бросил меня. Не ушёл. Я... я боялась, что ты исчезнешь, пока я сплю. Что всё это окажется сном. Галлюцинацией, вызванной потерей крови.

Ной медленно, осторожно кивнул, позволяя ей заметить движение его капюшона в темноте. Он не исчез. Не бросил. Не ушёл. Он был здесь — её немой спаситель, её призрак в красной ветровке.

День прошёл в странном, почти ритуальном ритме, который они выстроили без слов, без обсуждений, повинаясь какому-то древнему, интуитивному взаимопониманию, возникшему между ними с первой минуты их встречи. Айви, как профессиональный фармацевт, сразу же взяла на себя заботу о собственной ране — она попросила Ной принести ей оставшиеся медикаменты из его рюкзака и, сидя на кушетке, ловко и умело сменила повязку, обработала швы, проверила, нет ли признаков начинающейся инфекции. Её движения были чёткими, выверенными, профессиональными, и, глядя на неё, Ной впервые за долгое время почувствовал что-то похожее на восхищение — чисто человеческое чувство, которое, как он полагал, давно умерло в нём вместе с отмирающими нервными окончаниями. Она была сильной. Гораздо сильнее, чем можно было предположить по её хрупкой, почти эфемерной внешности. Она пережила нападение заражённых, потеряла много крови, провела ночь в холодном, тёмном, заброшенном здании, но не плакала, не жаловалась, не впадала в истерику. Она действовала. Адаптировалась. Выживала. И в этом было что-то глубоко правильное, что-то такое, что внушало Ную уважение и странную, необъяснимую гордость за неё.

Он, в свою очередь, взял на себя роль добытчика и стража. Пока Айви занималась своей раной, он методично обследовал помещение студии, заглядывая в каждый закуток, в каждый ящик, в каждый шкаф. В одном из подсобных помещений он обнаружил то, что стало для них настоящим спасением — старую, ржавую, но всё ещё работающую керосиновую лампу и целую канистру керосина, забытую кем-то из прежних обитателей студии ещё до начала эпидемии. В другом помещении, которое когда-то, по-видимому, служило чем-то вроде кухни для художников, он нашёл несколько банок консервов — тушёнка, сгущённое молоко, какие-то овощные консервы с потёртыми, выцветшими этикетками, — которые, судя по датам на крышках, были просрочены, но всё ещё могли быть пригодны в пищу. И, что самое удивительное и ценное, в углу этой импровизированной кухни стояла большая пластиковая бутылка с водой — почти полная, литров на десять, — которую кто-то предусмотрительно запас до того, как городской водопровод окончательно вышел из строя.

Смотри-ка, Ной. Похоже, кто-то из местных художников готовился к апокалипсису задолго до того, как он начался. Или, возможно, здесь был чей-то тайник, схрон на чёрный день, — заметил Симбионт, пока Ной перетаскивал свои находки поближе к кушетке, на которой сидела Айви. *В любом случае, нам повезло. Этой воды и этих консервов ей хватит на несколько дней. А там, глядишь, она достаточно окрепнет, чтобы двигаться дальше. Хотя, признаться, я не понимаю твоего упорства, Ной. Зачем тебе эта девушка? Она — обуза. Лишний рот. Источник опасности. Её запах привлекает заражённых, её присутствие ограничивает нашу мобильность. Если бы не она, мы могли бы уйти из этого города ещё вчера, найти более безопасное место, начать охоту...*

— Замолчи, — мысленно оборвал его Ной, и в его беззвучном голосе прозвучала такая сталь, такая решимость, что Симбионт, к его удивлению, действительно замолчал. — Просто замолчи. Ты не понимаешь. Ты никогда не поймёшь. Потому что ты — не человек. Ты никогда не был человеком. А я был. И я помню, что это значит.

К вечеру, когда за окнами снова сгустились декабрьские сумерки, а Айви зажгла найденную им керосиновую лампу, и студия наполнилась мягким, золотистым, почти уютным светом,

который танцевал на пыльных холстах и мольбертах, между ними произошёл тот самый разговор — разговор, который Ной никогда не сможет забыть, сколько бы ни прожил в этом новом, изуродованном теле. Разговор, который изменил всё.

Айви сидела на кушетке, закутавшись в старый, пыльный плед, который она нашла где-то в углу, и её лицо в свете керосиновой лампы казалось почти нереальным, почти ангельским, словно лик святой со старинной иконы. Она смотрела в его сторону — в тот тёмный угол, где он сидел, укрытый тенями и мольбертами, — и в её серо-голубых глазах читалась сложная, противоречивая гамма чувств: благодарность, смешанная с тревогой, любопытство, смешанное со страхом, решимость, смешанная с неуверенностью.

— Я хочу поговорить с тобой, — произнесла она наконец, и её голос, хотя и был слабым, звучал твёрдо и решительно. — По-настоящему поговорить. Не так, как вчера — односложными жестами и кивками. Я знаю, что ты не можешь говорить. Я видела, как ты пытался что-то сказать мне ещё в аптеке, и я слышала звуки, которые ты издаёшь. Но, может быть, есть другой способ? Может быть, ты можешь писать? Или рисовать? Здесь, в студии, полно красок и бумаги. Или, может быть, ты можешь объяснить мне как-то иначе? Жестами? Знаками?

Ной задумался на несколько долгих секунд. Писать? Его мелкая моторика, как показала вчерашняя перевязка, сохранилась на удивительно высоком уровне, но была ли она достаточно хороша для того, чтобы выводить буквы? Он не был уверен. И, кроме того, сама мысль о том, чтобы приблизиться к ней на расстояние вытянутой руки, показать ей свои серые, покрытые пятнами и язвами руки с почерневшими ногтями, вызвала в нём волну такого отвращения к самому себе, что он едва не отшатнулся назад, в спасительную тень.

Позволь мне помочь, Ной. Я могу облегчить тебе задачу. Я могу помочь тебе артикулировать звуки. Слова не получатся — твои голосовые связки для этого не приспособлены, — но интонации, ритм, эмоциональная окраска... это я могу тебе дать. Просто доверься мне. Расслабься и позволь мне направлять твой голос. Это будет не человеческая речь, но она будет понятна. По крайней мере, более понятна, чем твои обычные хрипы и рычание.

Ной колебался лишь мгновение. Затем, впервые за всё время своего существования в качестве нулевого пациента, он сознательно, добровольно позволил Симбионту получить частичный контроль над своим телом. Он почувствовал, как чужая воля мягко, почти нежно обволакивает его гортань, его голосовые связки, его язык — не подавляя его собственный контроль, но помогая, направляя, корректируя. А затем он заговорил.

— Ай-ви, — произнёс он, и его голос был низким, гортанным, хриплым, в нём звучали те самые нечеловеческие, вибрирующие обертоны, которые он слышал от Симбионта, но в нём также было что-то от прежнего Ноя — что-то, что делало этот звук не просто шумом, а осмысленным речевым актом. — Я... здесь. Я... слу-ша-ю.

Глаза Айви расширились от удивления и чего-то ещё — чего-то, очень похожего на радость. Она подалась вперёд, забыв о своей раненой руке, и жадно всматривалась в темноту, пытаясь разглядеть его лицо.

— Ты можешь говорить! — воскликнула она, и в её голосе зазвенели слёзы. — Ты можешь! Пусть не как обычный человек, но я понимаю тебя! Я понимаю каждое слово!

— Труд-но, — выдавил Ной, и каждое слово давалось ему с огромным усилием, требовало полной концентрации. — О-чень труд-но. Но... мож-но. Ес-ли... ес-ли ты го-то-ва слушать.

— Я готова, — твёрдо сказала Айви, и её голос больше не дрожал. — Я готова слушать тебя столько, сколько потребуется. Расскажи мне. Расскажи мне всё. Кто ты? Что с тобой случилось? Почему ты другой? Почему ты спас меня?

И он рассказал. Медленно, мучительно, с трудом выталкивая из своего горла каждое слово, каждую фразу, каждую мысль. Он рассказал ей о том, как был обычным курьером, развозившим пиццу и суши по ночному городу, и как носил красную ветровку, которая теперь стала его второй кожей. Рассказал о том, как началась паника из-за неизвестного вируса, как люди скупали маски и антисептики, как улицы наполнились воем сирен. Рассказал о том, как заразился сам — вероятно, от кого-то из клиентов, с которыми контактировал в последние дни перед вспышкой, — и как его организм отреагировал иначе, не так, как у всех. О том, как он не умер и не потерял рассудок, а впал в пограничное состояние, наблюдая с ужасом за тем, как его тело медленно, неумолимо меняется, превращаясь в нечто чуждое и пугающее. О том, как он заперся в своей квартире на три недели, пытаясь совладать с голодом и с голосом в голове. О том, как вышел наружу в надежде найти лекарство. О том, как нашёл её.

Айви слушала его не перебивая, затаив дыхание. Её лицо, освещённое мягким светом керосиновой лампы, менялось — на нём отражались ужас и сострадание, недоверие и понимание, страх и восхищение. Когда он закончил, в студии на несколько долгих минут воцарилась абсолютная, звенящая тишина, нарушаемая лишь их дыханием — её живым, человеческим, и его поверхностным, почти незаметным.

— Ты — тот самый нулевой пациент, — прошептала она наконец, и это был не вопрос, а утверждение. — Тот, о ком говорили в новостях. Тот, у кого вирус пошёл по другому пути. Тот, кого искали военные, чтобы изучить и, возможно, уничтожить. Я помню. Я помню, как говорили, что ты — ключ. Ключ ко всему.

Ной кивнул. Затем, помедлив, он медленно, осторожно поднял свою серую, покрытую шрамами и язвами руку и указал на свою грудь, туда, где под красной ветровкой билось его изменившееся, но всё ещё бьющееся сердце. А затем он указал на неё — на её раненую руку, на её бледное, но живое лицо, на её фонендоскоп, который всё ещё висел у неё на шее.

— Ты... фар-ма-цевт, — произнёс он с трудом. — Ты... ве-ришь... что за-ра-жён-ных можно вы-ле-чить. Я... слы-шал... как ты го-во-ри-ла об э-том... в ап-те-ке. Я... при-шёл... за ле-кар-ством. Но те-перь... те-перь я не зна-ю... мож-но ли ме-ня вы-ле-чить. Я... я уже мёртв, Ай-ви.

— Нет, — резко, почти гневно оборвала она его, и её голос зазвенел от напряжения, а в глазах блеснули слёзы. — Нет, ты не мёртв. Не смей так говорить. Мёртвые не спасают незнакомых людей от заражённых. Мёртвые не перевязывают раны и не приносят воду. Мёртвые не сидят всю ночь, охраняя чей-то сон. Ты не мёртв, Ной. Ты жив. По-другому, иначе, чем я или кто-либо ещё, но ты жив. Твоё тело изменилось, но твой разум, твоя душа — они остались. И пока это так, пока ты можешь выбирать, пока ты можешь чувствовать, пока ты можешь отличать добро от зла — ты жив.

Она сделала паузу, переводя дыхание, и слёзы, которые стояли в её глазах, наконец провалились и потекли по бледным щекам, оставляя мокрые дорожки. Но она продолжала смотреть в его сторону — в тёмный угол, где он прятался, — с выражением такой отчаянной, такой яростной надежды, что у Ноя перехватило дыхание.

— Послушай меня, Ной, — сказала она, и её голос дрожал от слёз, но звучал твёрдо и решительно. — Я работала в аптеке с самого начала эпидемии. Я видела десятки, сотни заражённых. Я видела, как они превращаются в безмозглых, агрессивных существ, движимых только голодом и инстинктами. Я видела, как они теряют всё человеческое, что у них было. Но я также видела кое-что ещё. Я видела проблески. Искры. Моменты, когда в их пустых, мёртвых глазах загоралось что-то, похожее на сознание. На узнавание. На боль. Я верю, что они всё ещё там, где-то глубоко внутри, запертые в своих телах, как в тюрьме. Я верю, что их можно вылечить. Можно вернуть. Может быть, не всех. Может быть, не сразу. Но можно. Я посвятила этому свою жизнь. Свою работу. Свои исследования. Я искала лекарство — и я думаю, что была близка к тому, чтобы найти его, когда всё рухнуло.

Она снова замолчала, и теперь её взгляд, устремлённый в его сторону, был полон такой напряжённой, такой отчаянной мольбы, что Ной физически ощутил её, как удар под дых.

— Но ты, Ной, — продолжила она почти шёпотом. — Ты — другое дело. Ты — не просто проблеск. Ты — целая личность. Ты сохранил разум. Ты сохранил способность к речи. Ты сохранил способность к состраданию. Ты уникален. И именно поэтому... именно поэтому я не могу обещать тебе лекарство. Я не знаю, можно ли обратить твою трансформацию вспять. Твоё тело зашло слишком далеко, и, возможно, возвращение к прежнему состоянию уже невозможно. Но я могу обещать тебе кое-что другое. Я могу обещать, что буду рядом. Что буду помогать тебе. Что буду изучать твой случай и искать способ если не вылечить тебя, то хотя бы остановить дальнейшее разложение. Если ты, конечно, этого хочешь. Если ты готов принять мою помощь.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.